

Елизавета Дворецкая



СВЕНЕЛЬД.
В ПОЛНОЧЬ УПАДЕТ ЗВЕЗДА

Княгиня Ольга

Елизавета Дворецкая

Свенельд. В полночь упадет звезда

«Автор»

2022

Дворецкая Е. А.

**Свенельд. В полночь упадет звезда / Е. А. Дворецкая — «Автор»,
2022 — (Княгиня Ольга)**

При дворе Олега Вещего завелось чудо чудное – великанша с гор Угорских, поляница удалая. Когда-то Горыня была обычной девушкой, да только огромный рост не давал ей жить как все: родные считали ее подкидышем, женихи над нею смеялись. Не по своей воле Горыня покинула родной дом и пустилась в путь, поискать себе счастья-доли. Будто в сказке, она оказывается то в избушке ведьмы среди темного леса, то в логове лесных побратимов-«волков», то в городе Киеве. Необычна подача в романе образа Вещего Олега: мудрый князь предстает здесь как успешный, но усталый человек, отец, озабоченный будущим своих детей, особенно – любимой, но лукавой младшей дочери, Брюнхильд-Стоиславы. По ее просьбе Олег нанимает богатырку Горыню на службу, не догадываясь, что она появилась здесь не случайно. Горыня принесла Брюнхильд долгожданную весть из дальних краев и должна помочь ей обрести свою любовь. Страсть, месть, честолюбие, отвага и чары сойдутся в схватке в волшебную ярильскую ночь, и к рассвету кто-то обретет счастье, а кто-то потеряет все...

Содержание

Часть первая	5
Глава 1	5
Глава 2	18
Глава 3	30
Глава 4	43
Глава 5	55
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Елизавета Дворецкая

Свенельд. В полночь упадет звезда

Часть первая

Глава 1

Хмурым утром предзимья, под одним из первых снегопадов, в Олегов город Киев въехал великан. Мелкий снег слепил глаза, мешал смотреть, и оттого эта удивительная фигура казалась мороком – вестником зимних вы沟; протри глаза, отдерни снеговую завесу – и не будет никакого волота верхом на вороном коне.

Но волот был настоящий – ростом в четыре локтя с лишним, и снаряжен как на бой – в высоком островерхом шлеме с бармицей, в кольчуге, с угорским луком в берестяном налуче, с полным кожаным колчаном стрел, с щитом на седле, а возле пояса у него был угорский же меч и кистень с каменным билом. Конь, хоть и крупный, был все же всаднику не в версту, и вместе они выглядели так, будто обычный человек вздумал прокатиться на черном козле. Но смеха вид путника не вызывал – только изумление и боязливый трепет, как перед порождением Темного Света. И пора стояла подходящая – сумрачные дни перехода с лета на зиму, когда преграда истончается и в белый свет выходит множество опасных гостей.

Появился великан, как и положено, с закатной стороны, с Моравской дороги. Люди на его пути хоронились за тыны, за углы, за кусты; иные, услышав о чуде, бежали поглядеть поближе и тоже прятались, изумленно ойкнув: и вправду волот! В толпе обычных людей он бы так же бросался в глаза, как конь среди козьего стада. Не замечая изумленной толпы, волот проехал предградья, миновал старый жальник и приблизился к Киевской горе. Осмотрев ее снизу – срубную стену на валу, ворота, – он будто впервые обнаружил поблизости людей и обернулся.

Все, кто шел за ним в почтительном отдалении, отшатнулись.

– Эй, люди добрые! – окликнул волот. Голос у него, против ожидания, оказался звонкий, да и бороды не имелось, стало быть, исполин был молод. – А что, князь ваш, Олег, на этом пригорочке живет?

Поначалу никто ему не ответил: каждый надеялся, что окрик относится не к нему, больший хоронился за среднего, средний за меньшего...

– Нет! – звонко выкрикнул мальчишка лет восьми-девяти, кажется, единственный, кто без боязни таращил круглые глаза. В этом возрасте любое диво еще воспринимается как должное. – Там бояре сидят!

– А где же князь? Поди сюда, воробей, не бойся! – Волот улыбнулся, и его румяное лицо показалось даже миловидным.

– А князь вон тама! – Мальчишка показал на Олегову гору. – Подалее проехать!

– Дорогу покажешь? А я тебя на коне прокачу.

– Взаправду?

– А то как же?

– Не лазь, малец, – опасливо предостерегли из толпы.

Но мальчишка, не слушая, подошел к волоту, продолжая зачарованно его разглядывать. Еще бы – у того все было больше, чем у людей, от черевьев до шлема. Каждый из его поршней был так велик, что иная баба могла бы в нем белье мыть, как в лохани.

– Давай! – Волот протянул руку – ладонь была с хорошую миску, – подхватил мальчишку и посадил перед седлом.

– Как тебя звать?

– Веляк.

Волот хмыкнул от этого несоответствия имени и его обладателя¹.

– Ну, поехали!

Веляк – названный так, надо думать, в надеждах на будущее, а пока щуплый, белобрысый мальчик с покрасневшим от холода носом, в потертом заячьем кожушке, – сидя перед великаном, напоминал воробья.

– На одну ладонь положит, другой прихлопнет, – пробормотал кто-то в толпе.

– На один зуб ему придется!

– Матери-то скажите!

– Это чей был?

– Да Белегостя-кожемяки.

– Смотреть за дитем некому, вот и попал…

Между киевскими горами теснились дворы, сады, огороды, и конь шел шагом, иначе подавил бы народ. Порой попадался воз, чей хозяин, завидев едущего навстречу доспешного² волота, замирал в изумлении, и тому приходилось придерживать коня и ждать, пока встречного добрые люди вытолкают с дороги. То и дело доносились выкрики, кто-то приседал, прячась за плетнем, чтобы тут же выглянуть опять: любопытство пересиливало страх.

– Ой божечки!

– Князю скажите! За отроками посырайте!

– Да он сказал, к князю и едет.

Такие гости не приходят просто так. Что за весть уроженец Темного Света несет князю Олегу, всему Киеву-городу? Вызов на бой? Требование дани? Сватовство Кощяя к княжьей дочери?

Сопровождаемый суетой и гулом, волот стал подниматься на Олегову гору. Здесь пошли дворы богатые: Олеговых бояр, воевод и торговых людей. Хозяева выходили к воротам и разевали рты, а потом тоже шли следом.

– А ты издалека ль путь держишь? – деловито осведомился тем временем вожатый.

– С гор Угорских, из земли Трояновой.

– Ты там живешь?

– И я живу, и весь род мой.

– А к нам зачем?

– Много будешь знать – скоро состаришься! – Молодой волот улыбнулся.

– Все так говорят… – с такой привычной горечью вздохнул мальчик, что волот рассмеялся. – Тебе хорошо, – добавил Веляк, – тебе небось сроду не говорили: ты-де мал еще!

Волот аж в седле покачнулся от хохота. Тут и кияне начали несмело улыбаться: тот, кто так звонко смеется, едва ли может быть опасен.

– Вон княжьи ворота! – Веляк показал вперед.

– Ну, спасибо, что проводил!

Перед княжьим двором волот придержал коня и ловко спустил Веляка наземь. Помахал ему ручищкой и проехал к воротам.

Ворота были открыты, но в проеме выстроились человек десять Олеговых гридей: тоже в насконо надетых шлемах, передний ряд – с щитами и топорами, задний – с копьями.

– Стой! – выкрикнул десятский. – Кто таков? Чего надо?

Они не всех незнакомцев так встречали, но при виде этого десятского подрастерялся.

¹ Веляк – великан.

² Доспешный – снаряженный для боя.

— Будьте живы, кияне! Надо мне князя повидать, Олега, — спокойно сказал волот. — Зла ему не мыслю, мать-сыра-земля мне послух. Он дома?

— Оружие сдай, — более мирно, но с оттенком настороженности ответил десятский. — Не положено у нас кому попало к князю с оружием заходить.

— Положено — сдам, — согласился волот.

Длинное, просторное здание гридницы — во время пиров там усаживались за столы человек триста, — с соподчины двора имело просторное гульбище, где можно было поставить столы еще человек на сто. Сейчас там толпились гриди, во все глаза глядя на диво. Челядь позабыла работать и застыла кто где. Сойдя с коня, волот привязал его у коновязи, оставил при нем кистень, меч, топор и саадачный пояс³, потом повернулся.

— Все? Проводите меня к князю Олегу, добро сотворя⁴.

Его спокойствие, вежливость, миловидное юное лицо и звонкий голос и нравились, и усиливали настороженность: от существа такого роста ожидали другого, и гриди, едва увидев гостя, было настроились на драку.

— Пойдем! — сам Рандольв, Олегов сотский, кивнул великому, приглашая за собой.

Но как странно было кивать тому, кто возвышается над тобой на две головы! Рандольв, мужчина средних лет, не считал себя обиженным ростом и силой, но сейчас испытал давно забытое ощущение — будто ребенок перед взрослым. Это его злило, но он держал себя в руках — не злятся на чудо. Все время хотелось протереть глаза, сморгнуть морок, чтобы увидеть стоящее перед тобой существо обыкновенным, как все. Но не получалось, и оттого Рандольва, как и прочих, не оставляло ощущение, будто эта встреча ему снится.

Следуя за Рандольвом, волот вошел в гридницу и между двумя рядами резных столбов, поддерживавших кровлю, двинулся в дальний конец. Князь киевский — русы и варяги звали его Хельги Хитрый, а славяне — Олег Вещий, — сидел на высоком сидении с резной спинкой, а у ног его лежали две огромные собаки-волкодавы: кобель пепельно-серый, а сука, его мать, почти белая. При виде неведомого гостя они подняли головы над вытянутыми длинными лапами, но остались спокойны: они привыкли к множеству чужих людей и были приучены ничего не делать без приказа.

— Вот так гость у меня! — Князь очарованно покачал головой. — Не думал, что найдется где-то еще один такой... Откуда ж ты?

— С гор я Угорских, из земли Трояновой, — гость вежливо поклонился. — Будь жив, Олег! Отчего же мне не быть? Весь род наш искони там проживет в горах каменных, в пещерах глубоких.

— Что же привело тебя?

— Службы ищу. Слыхали мы, что князь киевский Олег и славою славен, и силою силен, и богатством богат. Хочу к тебе в дружину оружную наняться.

Вошли несколько женщин: княгиня Бранеслава и младшая Олегова дочь, Брюнхильд-Стоислава. Обе они, как и сам Олег, были одеты в белую «печальную сряду» по Гrimu, сыну Олега и Бранеславы, полгода назад погившему в сражении с хазарами на далекой реке Итиль. Но если княгиня — побледневшая, постаревшая от горя, в белом походила на печальную богиню Желю, то Брюнхильд — рослая, статная, с длинной золотой косой, с золотыми моравскими подвесками на очелье и золочеными застежками варяжского платья на плечах — напоминала Солнцеву Деву, одетую в облако и убранную лучами.

Пройдя через гридницу, они осторожно обошли гостя — тот почтительно посторонился, — и приблизились к Олегу. Княгиня села на свою половину престола, а Брюнхильд встала рядом с нею — и еще две пары глаз, одни карие, утомленные, а другие ярко-голубые, блестящие жиз-

³ Саадачный пояс — второй пояс, помимо воинского, носимый лучником, на нем висел лук и колчан.

⁴ Добро сотворя — пожалуйста.

ненным огнем, – уставились на гостя. И тот, вопреки своему вежеству, кланяясь княгине, не сводил взора с Брюнхильд – впился глазами в ее лицо, и в ней что-то дрогнуло. Брюнхильд привыкла, что мужчины и женщины таращат на нее глаза: мужчин она влекла своей яркой красотой, а женщин изумляла роскошью греческих платьев и заморских украшений. Но эти глаза – тоже голубые, хоть и не такого чистого оттенка, – не столько выражали восхищение, сколько пытались пронзить ее насквозь, увидеть весь узор ее души до самого дна.

– Смотрите, какое ди… дело! – обратился Олег к жене и дочери, не в силах отвести глаз от гостя и невольно меряя его взглядом. – Вот… волот, прямо с гор Угорских, хочет ко мне на службу поступить. Как тебя зовут?

– Горыня, – ответил волот, и всякий бы признал, что это самое что ни на есть великанье имя отлично ему подходит.

– Ты шлем бы снял, Горыня, – тоже вежливо, но убедительно посоветовал Рандольв. – Здесь не набросяется… пока сам будешь тихий.

– Твоя правда, – кивнул волот. – Я чтобы видно было – ратной службы ищу и все нужное при себе имею.

Это гридям было понятно: богатый набор снаряжения приезжего у них вызвал понимание, а у многих – зависть. Сразу видно – не чащоба какая, человек доспешный.

Отстегнув ремень, Горыня стащил островерхий шлем вместе с подшлемником… и по гриднице вновь пролетел изумленный крик.

Стала видна толстая темно-русая коса, с затылка уходящая под плащ. И хотя в левом ухе у волота висела серебряная серьга – знак принадлежности к воинскому сословию, – без шлема и по лицу стало видно – это, несомненно, девица!

– Ты дева? – Сам Олег вытаращил глаза и подался вперед.

– Допряма⁵ так, – великанша с достоинством кивнула.

– Ты, видно, самому Святогору-волоту сродни?

– Правду говоришь. На горах Угорских род наш обитает, испокон там сидим, от пращура нашего Трояна идет. Никакая иная земля тяжести нашей не держит. Стрыйный брат⁶ деда моего так и вовсе выбрал в давние времена одну гору каменную, что крепче всех, там и лежит на ней, она одна на всем свете его тяжесть выдержать может. Как-то было, сказывают, заехал туда сам Перун, видит: гора каменная, а на ней волот лежит, сам как гора. Взял он палицу белодубовую да и вдарил со своей мочи волота по голове. А тот не шелохнется, вздыхает только. Взял Перун булатный меч, да как рубанул что было мочи! Волот вздыхает да говорит: ишь как нынче комарики разыгрались, покою нет! В третий раз ударил его что было мочи. Оглянулся волот, видит Перуна и говорит: ступай к себе на небо, перед синцами да игрецами силу показывай, а со мной тебе нечего меряться. Я и сам своей сил не рад, вот, выбрал гору да и лежу на ней…

Все в гриднице слушали в изумленном молчании: рассказ этот весьма напоминал кощуны и предания, но в устах существа столь необычного приобрел пугающее правдоподобие.

– Только теперь он уже не разговаривает, – с некоторой грустью докончила гостья. – Закаменел Троянушка, лесом порос. Теперь хоть топором его руби, хоть мечом секи, хоть дубиной колоти – не слышит.

– И много вас там таких? – спросил Олег с некоторым потрясением, высчитав, что гостья приходится двоюродной внучкой самому Трояну – великанию, по имени которого названы дальние западные земли близ Угорских гор.

– Немало. Братья мои – Буря, да Туча, да Хмара. Дядья наши – Дивьян да Крушигор. Родни у нас много.

⁵ Допряма – именно так, точно.

⁶ Стрыйный брат – двоюродный брат по отцу.

— Что же ты ушла оттуда? — спросила княгиня, никогда не видевшая столь огромной девы — на две головы выше любого в дружине и шириной в плечах не уступающей Олеговым телохранителям-берсеркам.

— Да я... — Девица-волот скромно опустила темные ресницы. — Я среди родни моей ростом не вышла, да и силой не удалась... Смеются надо мной... Мне матушка и говорит: поезжай в Киев, поищи себе службы, авось там пригодишься. А у нас-то с братьями не тягаться мне...

Кое-кто из гридей сдавленно засмеялся. Вот эта вот сосна бортевая — ростом не вышла? Силой не удалась?

— Каковы же тогда братья твои? — Олег улыбнулся.

Когда он немного пригляделся, Горыня начала его забавлять.

— Ну, каковы... Вот было, брат мой, Бурюшка, с женой повздорил, из дома убежал, бегает, ищет, на чем бы зло выместить. На Дунай-реку прибежал, в гору плечом уперся да двинул — гора на реку перешла да и русло засыпала. Вода людям луга и поля подмыла, они к отцу приходили, просили: Волот Волотович, не оставь милостью, сделай Дунай-реку как было!

— И что?

— Он Бурюшке велел: ты реку испортил, остолоп, ты и поправляй! Пошел поправил — отца не послушаешься. Другой брат наш, Туча, ему подсобил: он может гору любую рукою взять за верхушку да и перебросить куда захочет. Младший наш, Хмарушка, как вдарит правым кулачищем по скале — вода пойдет. Вдарит левым — огонь заблистает. Стрый наш, Крушигор, такую забаву имеет: подбросит камень, да так высоко, что тот, покуда летит, подрастет, потом упадет — враз на том месте озеро сделается...

Горыня помолчала, вздохнула.

— А вуюшку нашего, Грознобоя, мы вовсе в цепях железных держим в пещере глубокой, уж больно он того... как раззадорится, так удержу не знает. Коли вырвется, то пойдет все подряд крушить от дурного ума. Нам и бабка заповедала его не выпускать, кроме разве какой войны. Говорят, у бабки нашей Камены девять голов, но я ее не видела никогда, меня к ней непускают — говорят, молода больно.

— Сколько ж тебе лет? — с жалостью, будто перед нею была бедная сиротка, спросила княгиня.

Горыня хотела ответить, но задумалась.

— Помню, как Дивьян, вуйный брат матушки нашей, жену хоронил, — стала припоминать она. — Так уж он горевал, шапкой ей на могилу землю носил — сделались горы Кавказинские, а потом сел над тою ямой да стал слезы точить, пока не сделалось море... Это помню. После помню, как по тому морю Кий князь в греки ездил к цесарю в гости — тогда мне уж лет триста было. А князь Кий давно ли помер?

— Да лет триста тому, — невозмутимо ответил Олег, будто каждый день разговаривал с теми, кто видел древнего князя из преданий.

— Стало быть, мне лет шесть сотен будет.

Олег прикрыл рот рукой, пряча усмешку. Его очень забавляла эта беседа, а верить ли во все рассказанное, он пока не пытался решить.

— Ты, видать, проголодалась, от гор Угорских-то путь неблизкий.

— И не говори, господин! — Гостья доверительно улыбнулась.

— Вели на стол подавать, — Олег кивнул тиуну. — Да и нам тоже время.

Боязливо оглядываясь, челядинки проводили гостью в девичью избу, где она могла умыться; там она оставила плащ и кольчугу, а порты и короткую мужскую рубаху сменила на женское варяжское платье, выкрашенное в цвет коры молоденькой осины и отделанное узкой полоской синего шелка. Взамен шлема она надела красное шелковое очелье с парой серебряных узорных подвесок моравской работы — такому и боярские дочери могли позавидовать. Когда она в этом обновленном виде явилась в гридницу, на нее там воззрились с не меньшим

удивлением: теперь это была несомненно дева, но какая! Ростом мало не со столб! Женское платье и убор даже подчеркивали необычность ее, принадлежность к другой породе – носы челядинок приходились к ее локтю. Сигдир, один из телохранителей Олега, подошел поближе – на два шага – и осторожно примерился: Горыня оказалась выше на голову с лишним. А ведь к Олегу в бережатые отбирали самых здоровенных, каких могли найти!

– Да неужели ты и правда… вся такая? – почти в отчаянии воскликнул он.

Сигдир был родом из-за моря, но в Киеве жил уже лет десять и по-славянски говорил свободно. Северный язык, которым в Олеговой дружице пользовались так же часто, великаньей деве явно был непонятен.

– Может, там у нее не ноги, а ходули? – поддел кто-то из гридей.

– Попробуй, проверь, – почти дружелюбно предложила Горыня.

– А я проверю! – вперед вышел Неженец – киевский уроженец, здоровяк из числа тех, кого набрали в дружицу недавно, чтобы возместить большие потери заморского похода.

Не тратя больше слов, Неженец бросился к ней, пытаясь подхватить под колени и опрокинуть. Но дева оказалась быстрее – Неженец сам оказался на полу и покатился по дубовым плахам под дружный хохот.

– Ну что – настоящие у нее ноги? – спрашивали его со всех сторон. – Пощупал?

– Ноги – не понял, – сидя на полу, Неженец почесал в затылке. – А руки того… настоящие.

Брюнхильд тоже смеялась, глядя от хозяйственного края стола. Но ее удивление было не совсем то, что у прочих. Она примечала, что гостья посматривает на нее так же часто, как на самого Олега, если не чаще. Был бы волот мужчиной, то дивиться было бы нечему. Однако…

За столом Горыню посадили за стол для гостей – по левую руку от князя, но на самое к нему близкое место, чтобы можно было продолжать беседу. Поначалу Олег новых вопросов не задавал, а больше наблюдал. На верхних концах стола подавали лучшую еду – жареных гусей и оленину, похлебку из говядины, полбы и грибов, соленую белужину.

– С такой девой надо длинную ложку иметь – а то не поспеешь, – глядя, как бойко дева Горыня опустошает миску, хмыкнул боярин Божевек, которому досталось сидеть с нею рядом и делить посуду.

– Тут не только ложку надо длинную… – буркнул Сигдир.

Брюнхильд посмотрела на Горыню, но та осталась совершенно невозмутима.

– Не зевай, боярин, оно во всяком деле полезно, – ответила она Божевеку.

На Сигдира гостья и не глянула, будто не слышала. Уж верно, наслушалась за жизнь свою шестивековую разных глупостей, подумала Брюнхильд. А ведь для шестисотлетней великанши Горыня собой недурна: округлое свежее лицо, прямые темные брови, густые черные ресницы, короткий прямой нос. Подбородок маленький, и это смягчает черты; но скулы твердые, складка ярких губ жесткая. Казалось, если прикоснуться к ее румяному лицу, оно окажется прочным как камень. Брюнхильд, выросшая в Киеве и навидавшаяся разных удивительных вещей, колебалась: а что если это и правда… Трояна-волота внучка? Если смотреть только на лицо, то всякий назвал бы Горыню миловидной, а иной – и красивой. Русая коса – ниже пояса, толстая и тяжелая, такой косой драться можно, как дубиной. Без плаща и кольчуги стало видно, что там, куда дуралеи отроки всегда пляют глаза, у Горыни на двух девок хватит. Но красота эта грозна, нет в ней мягкости, женской податливости. И взгляд мужской – прямой, твердый, сосредоточенный. Даже балбес Сиги, не дающий проходу молодым челядинкам, пожалуй, долго бы собирался с духом, чтобы поцеловать такую деву…

Брюнхильд подавила вздох и взялась за кувшин. Серебряный, не то хазарской, не то сарацинской работы, кувшин был украшен чеканкой по золоченому полю: летят орлы, всадник стреляет из лука, потом двое борются – видно, добычу не поделили. Кувшин привезли из того похода Божевек с Унерадом и поднесли Олегу – князю, снарядившему войско, полагается тре-

тъя часть добычи. Брюнхильд еще раз вздохнула, подумав о Гриме: если бы брат вернулся и сам привез свою добычу, таких сокровищ у них был бы полон дом.

Чашник налил в кувшин пива, Брюнхильд взяла его и пошла к верхнему краю стола – это была ее почетная обязанность, которую княгиня Бранеслава все чаще ей доверяла. Гостья тем временем показала, что и вместительностью чрева не опозорит свой род – гуся умывая в одиночку, только косточки на зубах хрустели. Гриди, бояре, гости, да и сам князь не столько сами ели, сколько наблюдали за нею. Брюнхильд бросила взгляд на Рагнара, своего последнего оставшегося в живых брата, – тот, похоже, вовсе забыл про еду и не сводил со Горыни потрясенных глаз.

– Закрой рот – ворона влетит! – шепнула Брюнхильд, подойдя к нему с кувшином.

Рагнар лишь подвинул ей свою чашу голубого стекла, но едва ли услышал.

– А скажи-ка, дева, – задал вопрос боярин Избыгнев, Олегов свойственник⁷, – если ваше племя столько лет живет, то как же у вас умирают?

– А умирают у нас так, – Горыня обстоятельно вытерла опустевшую миску от похлебки ломтем хлеба, отрезанным во всю ширину каравая, и оглядела стол, подхватила кусок олеинны. – Идут, скажем, трое по горам. И вдруг видят – каменная домовина лежит. Давай примериваться – для кого? Один ляжет – ему длинно. Другой ляжет – ему узко. Третий ляжет – ему будет в самый раз. И коли та домовина для него и назначена, то вдруг откуда ни возьмись сама собой крышка выскочит, накроет ту домовину, земля развернется, и она в глубь земную уйдет. Это значит – вышел срок волоту, сама земля-мать его назад позвала. А мы, родичи, к тому месту сходимся, каждый земли принесет – кто в шапке, кто в поршне, а кто просто в горсти. И как высыпем ту землю – вырастает новая гора…

В это время Брюнхильд подошла к ним с кувшином. Налила пива Избыгневу, потом Божевеку, перешла к Горыне. Не переставая рассказывать, та подняла на нее глаза, и ее взгляд показался Брюнхильд очень пристальным, говорящим. Горыня взялась за поданную ей чашу, придинула ее к Брюнхильд и повернула кисть тыльной стороной вверх.

Невольно Брюнхильд глянула на эту крупную кисть – не меньше мужской – и что-то привлекло ее внимание.

Перстень на мизинце. Серебряный перстень с щитком, а на нем узор… в виде орла, раскинувшего крылья, с ягодой в клюве.

Брюнхильд резко втянула воздух. Несколько мгновений она неотрывно смотрела на перстень, убеждаясь, что глаза ее не обманывают, потом взглянула в лицо Горыне.

С близкого расстояния ее снова поразило, как же та огромна. Это не человек, это иная порода, люди такими не бывают – все это она уже думала раньше… только о другом знакомце.

А Горыня, прямо встретив ее взгляд, которого ждала, чуть заметно ей подмигнула. Слегка дрогнуло веко – не смотри Брюнхильд так пристально, могла бы не заметить.

Но она заметила. Руки ее слегка дрожали, когда она осторожно наливала пиво в чашу, а сама все смотрела на перстень.

Это тот самый. Перстень с орлом, уже ей знакомый. Так сильно забилось сердце, что Брюнхильд едва не задыхалась. Грудь вздымалась, кровь бросилась в лицо. От волнения загорелись корни волос. Так и хотелось спросить: это правда?

Хотя времени прошло достаточно. Два месяца уже есть, она и сама считала дни, думая, что уже пора бы *тому человеку* появиться. Но она ждала человека! А не великаны, да еще девицу!

Она снова взглянула в лицо Горыне. Отвечая на вопрос в ее глазах, та значительно кивнула. А вслух добавила:

– Благо тебе буди, княжна.

⁷ Свойство – некровное родство, возникшее благодаря браку других родственников.

Брюнхильд пошла вдоль стола дальше, не чуя под собой ног и даже забыв, зачем она здесь. Шага через три опомнилась – Избыгневовых сыновей миновала, обидятся. Вернулась, виновато улыбаясь. Ничего: ее волнение отнесут к встрече с поляницей-волоткой. Любая бы волновалась, увидев этакое чудо среди племени девичьего. Даже Олегова дочь.

Лишил бы никто не догадался связать эту великанку… с другим великанином, который был в Киеве два месяца назад. С Амундом, князем плеснецким. Но никто другой, кроме Брюнхильд, от него гонцов не ожидает. Ни одно чужое ухо не слышало, как в их последнюю встречу он сказал ей:

«Я уеду, а через месяца два-три к тебе приедет человек, скажется умелым сокольничим и попросится на службу. Он покажет это самое кольцо, и ты будешь знать, что это мой человек. Когда придет пора – отправь его ко мне. И я сделаю то, что ты надумаешь, или сам надумаю, как быть».

Никто бы не удивился, если бы к ней приехал наниматься на службу сокольничий – все знали, что дочь Олега любит ловчих птиц, сама их выращивает и охотится. Она и ждала какого-нибудь молодца. Но перстень – тот самый. В этом Брюнхильд не могла ошибиться: на память у нее осталась серебряная чаша, где на дне чеканкой изображен орел – точно такой же, как на этом перстне. То и другое было из Амундовой добычи сарацинского похода. Чашу он подарил Брюнхильд, когда она помогала ему приносить на Святой горе благодарственные жертвы богам. Но она увидела в этом даре нечто большее. Это было и признание, и обещание. Орел на дне чаши был не один – он увлекал с собою в небо обнаженную женщину, сжимая когтями ее бедра, а она подносила к его клюву какую-то большую ягоду. Брюнхильд догадалась: это Идуин с ее яблоками бессмертия, которую похищает Тьяцци, великан с севера в облике орла.

Она держала эту чашу в ларе с платьем и украшениями, как самое дорогое свое сокровище. Даже Олег, получив от греческих цесарей дань, не много привез чаш, подобных этой. Брюнхильд часто рассматривала ее, улетая мыслями в то самое небо, куда орел уносил богиню вечной юности. А потом ей снились объятия Амунда – то, чего она еще не испытала наяву, – и она просыпалась в горячем мучительном томлении.

Сколько она перевидала за жизнь уdalьцов и красавцев! Сколько из них пытались ей понравиться! Но понравился ей, вроде бы не прилагая к этому никаких усилий, тот, кого красавцем никак не назовешь. В ней вызвал страсть тот, к кому обычная женщина и подойти бы побоялась. Но она, Брюнхильд, не из трусливых.

И вот он здесь – обещанный посланец. Брюнхильд охватила лихорадочная радость. Пока что она не могла приблизить встречу с Амундом, но эта весть от него была ей дороже золота. Он по-прежнему желает заполучить ее… Хотя дело это настолько трудное, что без волшебных помощников не обойтись. Как в сказке, где трудному сватовству помогают три волота – Дубыня, Усыня и Горыня.

Обед продолжался. Горыня ела и пила за троих, да с таким вкусом, что и все прочие охотнее обычного налегали на еду.

– Ну, что ты думаешь? – шепнула Брюнхильд, подойдя с кувшином к отцу.

– Все наши косятся на нее… глаза по шелягу. Я бы и сам, не будь я князем, не очень бы обрадовался, если бы со мной в дружине состояла дева, да еще на две головы меня выше!

– Ну и что? Ни у кого в дружине поляниц нет, а у тебя будет! Пусть завидуют! А если боишься, что отроки будут недовольны, отдай ее мне. Ох, батюшка! – взмолилась Брюнхильд, как будто эта мысль явилась ей в этот самый миг. – Правда, отдай ее мне! Пусть она мне служит!

– Тебе она зачем? – Олег засмеялся. – Ратью на кого собралась?

– А пусть… охраняет меня! Я хочу, чтобы у меня тоже был свой бережатый! Ну баатюшка! – с привычным ей умильным задорным видом заныла Брюнхильд.

– Ты же дома живешь! К чему тебе бережатые?

– А вдруг поеду куда?

– Так со мной поедешь, не одна же!

– А как я по Киеву езжу без тебя, на стрельбище, или кататься, или птиц учить, беру с собой твоих отроков, и если возьму одного в месяц раза два, так они принимаются выдумывать себе невесть что! А будет у меня дева-бережатый – никто ничего не скажет!

– Это, конечно, лучше, – с сомнением подтвердил князь. – Да не слыхал я, чтобы у княжих дочерей свои бережатые были!

– Вот видишь! – горячо подхватила Брюнхильд. – Ни у кого не было, а у меня будет!

Олег вздохнул, но притворно – такое отличие собственной дочери и его забавляло. Ему не требовалось объяснять, что дочь его Брюнхильд-Стоислава – необычная дева, единственная на свете, несравненной красоты, ума, ловкости и отваги, и она безусловно заслуживает иметь то, чего ни у кого больше нет! Такой он ее растил с детства, и такой она выросла. В самом Константин-граде такой нет – Олег знал это лучше всех. И пусть Бранеслава ворчит, что он избаловал девку сверх границ. Кого же баловать, как не любимую дочь князя киевского?

– Ну, Троянова внучка, – обратился он к Горыне, когда обед подошел к концу. – Коли по нраву тебе мой хлеб, то я готов тебя испытать. Если ты и впрямь не зря оружие носишь, то возьму тебя служить моей дочери. Чтобы девицы князьям служили, такого у нас не водится, а вот для дочери моей я такую поляницу возьму.

Горыня встала из-за стола и почтительно поклонилась:

– Испытай, княже.

– А оружие ей вручать тоже Стояна будет? – давясь от смеха, осведомился Рагнар. – Ох, хочу посмотреть!

* * *

Месяц назад Горыня сидела в такой же гриднице – чуть меньше размерами и с более старой резьбой на опорных столбах кровли. Бужанская русь, осевшая на дороге от хазар к моравам еще лет сто назад, гордилась тем, что не моложе руси смолянской, а киевской – старше. Здесь тоже имелся резной княжеский престол с конскими головами на подлокотниках, а восседал на нем истинный великан.

– Я обещал Брюнхильд, что пришлю своего человека, – рассказывал Амунд плеснечкий, то прохаживаясь перед Горыней – почти в рост с опорными столбами, – то присаживаясь на край скамьи или на престол. В этом сказывалось его волнение, хотя на длинном костицом лице с неоднократно сломанным носом и в низком звучном голосе никакого чувства не отражалось. – Чтобы этот человек мог передать весть от нее ко мне, когда придет время что-то делать. Если она поймет, что ее отец никогда не смягчится и не согласится отдать ее мне, придется обойтись без его согласия. Хотя, видят боги, я ничем Хельги не обидел.

– Ты, родной, обидел его тем, что домой воротился живым, здоровым, с войском и добычей, – сказал Хавлот – шурин Амунда, старший брат его покойной жены. – А у него и сын сгинул, и дружины полегла, и от добычи ему досталось – мышиные слезы. Как же тут не обидеться?

Не в пример своей сестре, княгине Вальде, Хавлот красавцем не был: узкое вытянутое лицо, длинный нос-ключ, вечно тревожное выражение глаз. Он не был ни трусом, ни глупцом, напротив, унаследовал чародейную мудрость своего деда, Хавтора, и воеводскую должность после отца, Фрустена; просто Амунд привык, что прежде чем получить от шурина толковый совет, надо дать ему время спокойно поволноваться.

– Уж лучше бы тебе посвататься к дочери Олава из Хольмгарда. Она как раз овдовела, а сама еще совсем молода…

Амунд сморщился, будто раскусил кислую клюкву:

– Пусть Хельги теперь сватает ее за младшего сына. А я себе невесту выбрал.

– Хельги тебе твоей удачи до самой смерти не простит! И чтобы на его дочери жениться, даже не думай! Скорее камень поплынет!

– Хельги – разумный человек, – возражал Амунд. – Ты сам его видел. Свою славу он заслужил. Но когда у человека убивают сына и с ним весь цвет старой, опытной дружины, он, конечно, будет обижен на судьбу и возревнует к тем, кому больше повезло. Надо выждать, пока он успокоится и начнет рассуждать здраво. И если он смягчится, Брюнхильд подаст мне весть, чтобы я прислал сватов. А если он не одумается… об этом мне тоже нужно знать, чтобы… взять ложку в другую руку. Мы с нею договорились, что я буду ждать год.

– Год! – воскликнул Хавлот. – Ты год вдовел до похода! Потом поход – три года. И еще год! Плеснецк пять лет будет жить без княгини! Народ нестерпит!

– Брюнхильд ждала меня три года, и будет справедливо, если я подожду ее столько же, а тем более какой-то годик. Милодара пока управится с делами. Ее мудрости хватит.

После смерти Вальды, пока Амунд не обзавелся новой княгиней, должность верховной жрицы в Плеснецке исправляла Милодара, двоюродная сестра Амундовой матери. Она не слишком обрадовалась известию, что Амунд сватается к дочери Хельги киевского, а значит, над ее первенством нависла угроза.

– Ничего из этой затеи не выйдет! – Хавлот упрямо тряс головой. – Мы не в саге, где ётуноva дочь сама помогает себя похитить. Только зря потеряешь время! А тебе и так… уже сколько лет!

– Сколько? – Амунд взглянул на него, и правый угол его рта слегка дернулся вверх – он так усмехался. – Да мне всего тридцать! Это ты – старый трухлявый пень!

– Я пень? – Хавлот вскочил, но мгновенно остыл и сел на место. – Может, я и пень. Но ты скорее станешь старше меня в два раза, чем получишь эту деву законным путем. Превзойти Хельги киевского удачей – это все равно что на людях плюнуть ему в лицо. Он не простит тебя никогда. К тому же он понимает: его последний сын – не жилец. Хельги сам его переживет и знает это. И если его дочь будет замужем за князем, то вся земля Полянская когда-нибудь окажется в твоих руках. А этого нестерпит поляне. Они столько лет воевали с древлянами, но и нас любят не больше.

– Его старшая дочь уже замужем за князем. И у Предслава нет своей земли, он уж верно жаждет получить тестев стол.

– На морованина они, может, и согласятся. Но Хельги не захочет дать ему в соперники тебя! Не захочет, чтобы после его смерти два зятя передрались за наследство.

– Мы можем поставить такое условие брака – что я не буду притязать на Киев.

– Кияне тебе не поверят. Они нам не верят ни в чем. Думают, что мы перевет держали с хазарами⁸ и потому уцелели. Ты один из трех князей вернулся живым, с войском и добычей! Я бы тоже заподозрил…

– Но раз я все-таки вернулся, значит, удача моя сильна. И мне она не изменит. Норны – женщины, они любят устраивать свадьбы. Правда, Горыня?

Амунд подмигнул девушке, и она заставила себя улыбнуться. Разговоры об Олеговой дочери, красавице по прозванию Золотистая Брюнхильд, она слушала с невозмутимым видом, даже слегка улыбаясь, но на душе у нее было смутно. Мысль о том, что князь влюблен, что возле него может появиться женщина, законная госпожа этого дома, была ей неприятна. Когда сама Горыня три года назад прибыла в Плеснецк, Амунд уже был вдов и хозяйки в доме не имелось. Иначе дела ее могли бы пойти куда хуже – если бы госпожа дурно ее приняла, не пожелала терпеть это «чудовище» среди женщин двора…

Но Вальда, говорят, была женщина добрая и разумная. А то дочь самого Хельги киевского! Недалеко от своего отца ушла – хитрого и коварного. Горыня уже знала повесть о том,

⁸ Держать перевет с кем-то (из врагов) – совершить предательство.

как этот подлец придумал опоить Амунда каким-то зельем, чтобы помешать ему стать старшим вождем заморского похода и отдать главный стяг своему сыну Гриму – и никто иной как Брюнхильд своими руками поднесла Амунду отравленное греческое вино! Улыбалась ему, оплела льстивыми речами, а его потом всю ночь наизнанку выворачивало – бережатые рассказали.

Услышав об этом впервые, Горыня насторожилась. Кое-что она знала о таких делах.

– Это она ему приворотное зелье поднесла, – говорила она телохранителям. – Я слыхала о таких. Иные бабы глупые мужьям в питье чемерицу подсыпают, чтобы сильнее любил, потому что от нее в утробе у человека тоска поселяется. Но от этой тоски умереть проще простого.

– А что, сходится! – Телохранители переглянулись, и на лицах у них отразилось понимание.

От того питья князь сначала мучился утробой, из-за чего пропустил жребий, а когда оправился, ощутил любовь к той самой деве, что питье поднесла! Какое дело без чар не обойдется!

– А ведь даже Хавлот не догадался! – воскликнул Ярни, оружничий⁹. – Он же его лечил!

– Он, видно, про чемерицу не знал. А мне про нее баба Луча рассказала – Красная Баба, она в лесу живет и все-все про чародейные травы знает.

Как можно доверять такой змее! Горыня тайком кипела от возмущения, и будь перед нею не князь, а кто-то из простых, она бы ему высказалась. Один раз опоила – и еще раз опоит! Выйдет замуж, приберет к рукам людей и хозяйство – а потом снова чашу поднесет мужу, да и на краду погребальную проводит! А земля Бужанская ее родителю достанется, змею сладко-речивому!

– И мне нужен верный человек, – продолжал Амунд. – Я обещал Брюнхильд прислать сокольника и думал выбрать кого-то из наших. Но когда поглядел, как ты за три года наметалась… – Он остановился перед Горыней, ровно под столбом с зарубкой, обозначавшей его рост, – то подумал: а что если деву послать? Брюнхильд – необычная девушка, она сама охотится с соколами, скачет, стреляет с седла, как угорский воин. Если к ней на службу попросится дева-волот – у нее ты ко двору придешься.

– Хочешь, чтобы я была тебе сватом, как Дунай у кагана аварского? – Горыня улыбнулась, намекая на сказание, где Дунай, сватаясь за дочь кагана для своего князя, чуть не перебил всех авар, едва оставив «на семена».

– Ну, не так шумно! – Амунд засмеялся. – Это дело очень важное и тайное, но я думаю, я могу тебе доверять.

В последних его словах Горыня уловила оттенок вопроса, и это заставило ее отбросить сомнения.

– Ну еще бы, княже! – Она прямо взглянула в его темно-голубые глаза, будто налагая печать.

Во взгляде Амунда, всегда твердом и уверенном, ей почудились затаенная печаль и надежда. И стало стыдно за свои сомнения. Амунд, хоть и князь, хоть и ростом четыре локтя, все же и человек, и мужчина как все – он тоже хочет иметь любимую и любящую жену, а эта Брюнхильд – красавица, все парни с этим согласны, кто был с князем в Киеве и видел ее. Заря золотая, а не девушка. Такую и без приворотных зелий можно полюбить без памяти. Даже у балбеса Фастара, когда он о ней говорил, делался мечтательный вид. Горыня немного дулась про себя: о ней-то никто мечтать не станет!

Но нет, этой обиде она воли не даст. Амунд к ней отнесся лучше, чем отец родной – да он стал ей родным отцом. Столько добра она ни от кого другого во всю жизнь не видела и не увидит никогда. Дренги говорили, что поначалу он злился на Брюнхильд, когда понял, что она его опоила. Но потом как-то ее простил. Наверное, за красоту. Что поделать – за красоту

⁹ Оружничий – оруженосец.

многое прощается. Три лета за морем он о ней помнил. Видно, и впрямь полюбил. И если ему нужна ее, Горыни, помочь, разве может она отказать?

— Я поеду, княже! — заверила она, будто очень горда поручением. — Все сделаю что надо, хоть за пазухой тебе эту деву привезу!

— Ты? — Хавлот вытаращил глаза. — Вы с ума спрыгнули оба! — Он взглянул на князя. — Да ей там проходу не дадут! Сбегутся, как на чудо морское!

— Мне, боярин, не привыкать, — скромно напомнила Горыня. — Я когда сюда приехала, вы тоже...

Амунд захохотал, вспомнив тот день. К нему самому бужане привыкли: он родился в Плеснецке и у них у всех на глазах к восемнадцати годам вырос до четырех локтей. Но когда на свете нашлась еще одна такая, да к тому же девка — весь Плеснецк сбежался смотреть. Незадолго до этого Амунд овдовел, и когда из гостения он вернулся с девушкой себе под стать, отысканной на самом kraю земли Бужанской, по городу тут же пошел разговор, что князь-волот из Окольного добыл себе невесту-волота.

— Постой, но надо же придумать, кем тебе называться, — сказал Амунд. — Хельги же спросит, чьих ты, откуда, почему оружником заделалась. Где тебя выучили? Они же знать не должны, что ты от меня.

— А я... — Горыня задумалась.

Если сказать, что я-де Волынской земли, Лужской волости, веси Волчий Яр, а отец мой — Ракитан-оратай, спросят, кто же ее на отрока выучил и с чего она в Киев явилась, в такую даль. Примутся искать — и впрямь разведают, как она из дома ушла и где последние три года обреталась. Нет, правду сказать — все погубить. Выдумать разве другого себе отца, какого на свете и не было?

— Такая дева — и ростом велика, и силою сильна, и оружна — только поляница удалая может быть, — хмыкнул Лундварь, самый старший и умный из Амундовых телохранителей.

— Про них сказания есть, нам бабка рассказывала, — подхватил Хавлот. — На тебя, Горынька, поглядеть — прямо из сказания и явилась.

— А где волоты и поляницы живут? — спросил Амунд.

— На Святогоровых горах! — сказал Лундварь.

— На горах Угорских! — добавил Хавлот. — Потому как они света дневного боятся и днем хоронятся в пещерах глубоких.

— Ты с троллями не перепутал? — усомнился князь.

— Тролли — это же ётуны?

— Да.

— Ну! — Хавлот показал на Горыню, дескать, чем тебе не ётун?

Амунд посмеялся, покрутил головой. Недруги звали ётуном его самого; зная об этом, он дал имя Ётун своему мечу-корлягу, который ковали для него на реке Рейн по особому заказу и который, как он был уверен, стал самым большим мечом на белом свете.

— Ну, пусть в пещерах. Вот бы она могла приехать верхом на волке и сказать, что она родом из темного леса Мюрквид...

— Тогда ее в Киев не пустят, — заметил Ярни. — Приедь она к нам на волке, мы бы ее к тебе ни за что не пустили, да, дренги?

— А пусть она скажет, — Хавлот оживился, — что она с гор Угорских, что весь род ее — волоты, а мать и сестры — поляницы. Волоты ведь не то что ётуны, они злыми чарами не балуются. Волотов народ уважает!

— Поверят? — Амунд с сомнением посмотрел на шурина.

— Поверят! Такое чудо своими глазами увидишь — во что хочешь поверишь. Кто усомнится — того сами побьют.

— Ну, — Амунд обернулся к Горыне, — хочешь быть из рода волотов?

– Да про меня и не то уже говорили. Лучше от Святогора родиться, чем от мамонта подземельного.

– Тогда готовься в дорогу. Надо тебе до зимы в Киев попасть.

Горыня угадывала в Амунде нетерпение любовной лихорадки: зная, что еще очень не скоро сможет получить свою возлюбленную, он старался сделать хоть что-то, чтобы приблизить этот день.

Стало быть, зиму ей предстоит провести в Киеве... Об этом городе Горыня много слышала, но, к счастью, не бывала там. В дружину Амунда она попала последней зимой перед большим заморским походом, и Амунд не взял ее с собой, велел оставаться дома и учиться. Тогда она была этим недовольна – можно подумать, ратники-весяне чему-то учились перед походом! Но воля Амунда была высказана, и ее оставалось принять. Еще в самом начале он взял с нее клятву повиноваться ему, как сестра повинуется старшему брату. Амунд тогда еще не знал ее и хотел иметь прочную узду на случай, если нрав девы-волота окажется так же неудержим, как ее сила. Эти опасения не подтвердились: Горыня обладал стойкостью и упорством, но нравом была покладиста и ни с кем не искала ссоры, если ее не задевали.

Теперь то, что она не ходила в поход и не показывалась в Киеве, оказалось ко благу: ее там никто не знает, и ей нетрудно будет выдать себя за внучку Святогора или Трояна, пращура всего рода великаньего. Уверенности ей нынче не занимать – не то, что раньше. И это тоже благодаря Амунду.

А уж когда она приедет в Киев, то на месте разберется, достойна эта Брюнхильд любви такого человека, как князь плеснецкий, или от этой невесты его нужно спасать.

Глава 2

Поселили Горыню в девичьей избе, где обитали служанки и с ними сама Брюнхильд – та спала на резной лежанке, на пуховых постельниках и зашелковой занавеской. Для Горыни на ночь раскатали на полу два постельника, набитых пухом рогоза, а на день убрали, чтобы можно было пройти.

– А она не с нами разве будет? – посмеивались гриди и кивали на гридницу и дружинную избу. – Коли она тоже теперь в гридях, должна с нами жить.

Горыня и ухом не вела. Дуралеи хоть и пытались ее поддеть, тем не менее выражали согласие принять ее в свой круг. На лицах иных она читала сомнение: рост-де вижу, а какова эта «оружница» будет в деле? Но на это вопрос они ответ скоро получат.

Поутру она вышла на широкий двор, где упражнялись гриди, по-вчерашнему одетая отроком, и в полном боевом облачении: шлем, кольчуга, круглый щит, обшитый кожей. В руках у нее был увесистый «вяз» с женское запястье толщиной и в два локтя длиной – вчера уговарились на испытании не применять железа. Хотя и этим вязом убить человека проще простого.

– Давай, воевода, поединника мне! – к огромной радости всего двора потребовала Горыня у Рандольва. – Чего время терять?

Гриди, челядь все более густой толпой смыкались вокруг. В ворота лезли кияне: весь город успела облететь весть, что у князя появилась дева-волот. Сам Олег вышел на крыльцо с родичами и близкими боярами.

– За поединниками дело у нас не станет! – усмехнулся Рандольв. – Кого выставим, княже?

– Самых лучших, кого имею, – Олег тоже улыбнулся и показал на своих телохранителей, в одинаковых позах, скрестив руки на груди, стоявших перед крыльцом.

Простого человека необходимость драться с кем-то из них могла бы смутить. Олеговы телохранители были на подбор: одинакового высокого роста – Горыне по плечо, – они и внешне были похожи, как родные братья. Светловолосые, со светлыми, золотистыми бородками, с голубыми или серыми глазами, даже чертами лица они были схожи, так что на первый взгляд было сложно отличить одного от другого. Только внимательный глаз определил бы, что одни немного старше, другие немного моложе, но все – от двадцати до тридцати лет. К тому же они походили и на самого Олега, из-за чего казались неким его продолжением. Быстро оглядев их, Горыня заметила разницу только в шрамах – у одного косая белая черта на щеке, у другого нос искривлен, у третьего бровь переломлена – и в выражении глаз. Одни глаза смотрели на нее с насмешкой, другие с любопытством, трети оценивающе… Взгляд четвертых она не могла прочесть: он казался пустым, как серый лед. А тот, что стоял вторым слева, никакой тайны не скрывал – в этих серых глазах отражалась неприкрытая, вызывающая неприязнь.

– Кто желает с девой потягаться? – спросил Рандольв.

Ответом были издевательские ухмылки – желания никто не выражал, но никто бы и не отказался.

– Пусть она сама выберет! – предложила Брюнхильд, явно желая подыграть деве-волоту.

– Только вслепую! – ответил ей красивый светловолосый отрок. Горыня видела его вчера и знала, что это Рагнар, младший сын Олега и сводный брат Брюнхильд. – Пусть она как Скади: они закутают головы в плащи, чтобы видны были одни ноги, и пусть она выберет, какие ей больше понравятся!

Дружина закатилась хохотом: поединок еще не начался, а уже изрядно всех веселил.

– Только ёсли конунг не вельит потом на ньей жениться! – произнес один из телохранителей; по-славянски он говорил вполне свободно, но, как Горыня и ожидала, выговор выдал его заморское происхождение.

– На ней сможет жениться только тот, кто сумеет ее одолеть! – возразила Брюнхильд. – А пока еще никто из вас этого не смог, так что не спешите!

– Пусть это будет Лютульв, – решил Олег. – Посмотрим заодно, как он себя покажет.

Свой Лютульв, или Льтульв, как он сам произносил свое имя, был новым среди его телохранителей человеком; он приехал в Киев только минувшим летом, из Хольмгарда, и даже еще не понимал по-славянски. В телохранители он попал, потому что их число нужно было восполнить, а только он один был для этого достаточно силен как боец и внешне схож с остальными, что у Олега было обязательным требованием.

– Гакк¹⁰! – Товарищ хлопнул Лютульва по спине и подтолкнул вперед. – Хон эст тин. Она твоя.

К Горыне шагнул тот самый, что смотрел на нее отстраненно и беспощадно. Из всех шестерых это был, пожалуй, худший выбор. Может, он и правда берсерк, мелькнуло у нее в голове. Такие глаза смотрят на противника так, будто он уже мертв, и этим подрывают его боевой дух. Но Горыня и до того слишком часто встречалась с такими попытками. Если бы она на них поддавалась, то сейчас была бы очень далеко от Киева. И в ответ на свирепый взгляд, говоривший «я тебя уничтожу», она лишь двинула бровью и дернула плечом, отвечая: уничтожил один такой.

Варяг тем временем подготовился: надел шлем, взял щит, кто-то сунул ему в руку дубину навроде Горыниной. Первые же шаги его выявили опыта бойца: он двигался не прямо, а вперевалку, приседая и выламываясь, что напоминало пляску медведя на Весновки-Марогоны. Все его мускулистое тело ни мгновения не оставалось спокойным, а на лице застыло холодновраждебное выражение. Он то подступал ближе, то отшатывался, старался обмануть Горыню, делал выпад, будто намереваясь нанести удар, но тут же отскакивал в сторону.

– Не бойся, дай уже ей! – весело кричали отроки, но Лютульв, поскольку не понимал, то и не слушал.

А Горыню эта медвежья пляска начинала злить. Варяг как будто издевался над ней, не удостаивая ее настоящей схватки и в то же время не давая от него отделаться. За последние три года она набралась умения и опыта, но никогда еще не встречалась с такой повадкой – вроде бы уклончивой, но смертоносной. Отчетливо Горыня понимала – стоит ей на миг зазеваться, и...

Вот Лютульв снова подступил ближе, сделал ложный выпад и опять отшатнулся. Горыня быстро шагнула за ним следом и нанесла удар своей дубиной в голову, справа налево.

Этого коварного варяга только и ждал. Нырнув под дубину, он резко выбросил левую руку вперед и вверх, целя рантом щита Горыне в подбородок. Зрители разом охнули, оценив опасность выпада. Недовольный тем, что его заставили драться с девкой, пусть и такой огромной, варяг попытался закончить поединок одним махом. Попади такой удар в цель – мог бы вышибить дух, а то и сломать челюсть. Среди возгласов слышались и недовольные – от тех, кто помнил, что это всего лишь испытание и Горыня, ничего дурного Лютульву не сделавшая, не заслужила такого серьезного увечья.

– Тинн скельмир!¹¹ – не злоно, скорее удивленно бормотнул тот варяг, что опасался женитьбы.

Против своих в дружине такой прием не применяют, и Лютульв тем самым обошелся с Горыней как с врагом.

– Да что он творит! – донесся с крыльца возмущенный голос Брюнхильд.

Лютульв почти достиг цели – Горыня не успевала уклониться, она лишь смогла прижать подбородок к груди и чуть откинуться назад, так что удар пришелся не прямо в лицо, а соскользнул на плечо. Кого другого сила удара все равно сбила бы с ног, но Горыня устояла,

¹⁰ Иди! (др.-сканд.)

¹¹ Вот ты мерзавец!

только пошатнулась. Перед глазами вспыхнули белые искры, рот наполнился медным вкусом крови – щеку изнутри порвало о зубы. Но боль не заставила ее растеряться – только разозлиться на гада ползучего. Ну раз ты так...

С всей силы она толкнула растянувшегося в длинном выпаде противника плоскостью собственного щита. Слишком понадеявшись на свой коварный удар, Лютульв зарвался: от толчка в правую сторону тела его развернуло, он потерял равновесие, и тут Горыня без затей, но от души приложила его вязом по шлему. Сверху вниз, как раз над ухом. Аж гул пошел, в железной поверхности появилась вмятина, а Лютульв рухнул на колени, бестолково мотая головой. Он был оглушен и не мог продолжать бой. Хотела бы она – сейчас одним махом снесла бы ему голову с плеч.

Тяжело дыша и сглатывая кровь во рту, Горыня отступила. Постепенно до слуха доходили ликующие крики: теперь, когда она победила вопреки коварному опасному выпаду, зрители были на ее стороне.

– Вот так! Вы видели, видели! – радостно вопила на крыльце Брюнхильд. – Так ему и надо.

Товарищи подняли Лютульва, сняли с него шлем и увели в угол двора, чтобы облить ему голову водой. Горыня стояла, опираясь на свою дубину и ожидая, не прикажет ли князь дать ей еще поединщика. Может, даже двух – при испытании новичок в дружине должен выстоять против троих. И она такое испытание уже проходила… Совсем недавно – когда деревья стояли в золоте и Амунд, князь пленецкий, вернулся домой после трехлетнего заморского похода…

…Первым Амунд выпустил на нее Берси – самого добродушного из шестерых своих телохранителей. В Плеснечке на Горыню смотрели как на кого-то вроде побочной княжеской сестры, и он был уверен, что никто из его людей не захочет причинить ей вреда, но все же тревожился – девка есть девка, хоть и ростом в четыре локтя без малого. В Берси, как и его товарищах, было три с половиной локтя. Выглядела «схватка волотов» устрашающе. На что Горыня способна, и князь, и его гриди толком не знали: пока дядька Виберн обучал молодую великаншу «на отрока», они были за морем, и насчет ее успехов им пришлось поверить на слово. На их глазах проходили только первые ее уроки: когда ей дали самый тяжелый щит из толстых досок – в каждой дружине есть такой, называемый «щит бессмертного», – чтобы проверить, сумеет ли она отражать удары, то есть можно ли вообще выучить девку «на отрока». То испытание она прошла, но в памяти князя и его гридей осталась едва умеющей прикрыть колени.

Проверяя, насколько уверенно Горыня держит оружие, Берси стал теснить ее, насыпал, пока не подошел слишком близко. Не выдумывая ничего особенного, Горыня взмахом ноги ударила в его щит – и Берси вылетел из круга, опрокидываясь на спину, и рухнул наземь. Вопли и хохот взлетели над княжьим двором – зрелище было красочное, особенно при том, что в кругу осталась девушка с длинной русой косой, свисающей из-под шлема и заткнутой сзади за пояс, чтобы не мешалась. Горыня тяжело дышала – не столько от усилий, сколько от волнения. За эти три года она прошла через множество учебных поединков, но сейчас на нее смотрел сам Амунд и его дружина – люди, что эти три года провели среди опасностей войны и много раз бывали на волосок от смерти. Им она должна была показать, на что способна. Быстрая победа над Берси казалась ей подвохом.

– Давай ты, – Амунд, улыбаясь краем рта, кивнул Фастару.

Фастар был самым высоким из шестерых, но Горыне уступал. Равных ей не имелось в земле Бужанской – кроме самого Амунда, который был еще на ладонь выше. Лицо у Фастара было вытянутое, с грубыми чертами, с которыми не вязались младенчески-светлые волосы и такие же светло-голубые глаза; простодушие взгляда, граничащее с глуповатостью, прида-

вало ему совсем невинный вид, что в свою очередь не вязалось с огромным ростом, длинными конечностями, широкими плечами и бугристыми мускулами.

На самом деле Фастар был не глуп, а всего лишь лишен воображения – что ему скажут, то он и сделает. К Горыне он с самого начала относился хорошо – девка величиной почти с самого князя, перед которым он преклонялся, ему казалась чудом, и он был рад, что привелось это чудо увидеть. Но дело есть дело, испытания для приема в дружину – не пляски под березкой.

Самым дружеским образом ей улыбаясь – с правой стороны не хватало верхнего зуба, – Фастар быстро нанес два верхних удара, отступил вбок и без передышки попытался достать Горыню под колено. Времени с полвздоха – ногу она успела отдернуть, но ощущила, что такое настоящий боец, умелый и опытный. Совсем не та хватка, с какой она встречалась здесь, среди оставшихся в Плеснечке отроков. Даже самому дядьке Виберну, ее главному наставнику, было до этого далеко – и рост, и сила, и быстрота не та.

Надо сосредоточиться. Дядька Виберн Горыней был доволен, и среди отроков, остававшихся с ним, ей к концу третьего лета соперников не находилось. Но сейчас, на втором поединке с княжьими бережатыми, она поняла: это испытание не чета прежним. Эти парни ниже ее ростом, но здоровее и гораздо опытнее. Победит она едва ли и будет молодец – то есть молодица, – если не «сольвет» так же быстро, как ей слил Берси, не ожидавший, что она, девка, и правда чему-то научилась.

Горыня и Фастар закружили по площадке, приглядываясь друг к другу. Вновь сошлись, обменялись ударами и разошлись. Горыня заставила себя успокоиться: все же Фастар был ниже нее и она, привычно глядя на него сверху вниз, напомнила себе: я сильнее. Я – великанша. А он просто лоб здоровый.

– Фастар, пободрее! – насмешливо крикнул Амунд, будто подзадоривал ленивых. – Не проснулся еще?

Тот ответил широкой улыбкой, которая придавала ему придурковатый вид – но ошибся бы тот, кто этой придурковатости поверил бы. Он снова начал давить, быстро нанося верхние и нижние удары. Казалось, и меч, и собственное его тело ничего не весят – так легко он с ними управлялся, но вот удары оказывались очень даже весомыми.

Горыня немного попятилась под этим напором. Для решительной схватки ей приходилось раззадоривать себя – от природы злобы и боевого ража в ней не было. Родись она обычной девкой, неполных трех локтей ростом, а не четырех, среди других она ничем бы и не выделялась. Бойцом ее сделал только исполинский рост и сила, которым в жизни обычных женщин применения не находилось.

Помня, что нельзя все время защищаться, она сама решилась надавить: широко замахнувшись, рубанула слева направо и тут же прыгнула вперед, толкая Фастара плоскостью щита. С лязгом столкнулись стальные умбоны, но Фастар легко ушел в сторону. Оказавшись сбоку от великанши, припал на колено и длинным выпадом зацепил Горыню по левой голени.

– Есть! – чей-то выкрик с трудом пробился сквозь общий рев.

Горыня отошла назад, недовольно хмурясь. В руках Фастара, как и у нее, был тупой меч, но в ушибленной ноге ощущалась дергающая боль. Не собираясь сдаваться, она ударила низом, нарочно в край Фастарова щита, чтобы тот слегка развернуло, и тут же добавила верхний, в голову. Сбила своим щитом ответный выпад и еще раз ударила в голову. Раздался звон – клинок коснулся шлема, и этот звон отдался в сердце Горыни ликованием. Есть!

Но Фастар отскочил и вновь бросился на нее. Улыбка его еще держалась, но младенчески-голубые глаза похолодели и оттого стали жуткими. Горыню пронзил страх перед убийственной сущностью этого человека – той, что проступает, когда придурковатая улыбка перестает отвлекать внимание. Но, разозлившись уже на себя, она подавила этот страх. Она и сама страшная! Она – великанша, и этот придурок Фастар – мелочь перед нею!

Фастар тем временем крутанул обманный выпад и следующим ударом достал Горыню в бедро, но и сам получил под колено.

– Разойдись! – крикнул Амунд.

Он лучше обоих соперников видел растущую в них злость и опасался ее прорыва. Способности Фастара он хорошо знал, но мощь и ловкость Горыни тоже не обещали добра тому, кто сумеет ее раззадорить. Дядька Виберн и правда неплохо ее подучил за три года!

Противники разошлись; оба тяжело дышали.

– Хватит с вас! – решил Амунд. – Будем считать, ничья.

Фастар отошел к товарищам, снимая шлем. Обернулся, вытирая ладонью мокрый лоб и волосы и осматриваясь: кто следующий?

– Дай-ка! – Амунд вдруг протянул руки к его щиту и мечу.

Фастар отдал, еще не понимая. Амунд шагнул на площадку, где ждала Горыня: как был, в кафтане и с непокрытой головой.

– Ты что, княже... ты сам? – под изумленный гул отроков выдохнула Горыня.

– Парням не совладать с тобою, как видно, – Амунд ухмыльнулся правой стороной рта. – Хоть я за нашу честь мужскую постою.

«Нет, нет, я не хочу!» – чуть не крикнула Горыня, но смолчала из привычки не противоречить князю. Сердце трепетало, мысли метались. Биться с Амундом она совсем не хотела – он и выше нее на целую ладонь, и старше почти на десять лет, и опытнее! А главное – он же князь, в жилах его божественная мощь! Он – настоящий волот, куда ей... В этот миг она опять ощутила себя той девкой, которой была три года назад. Врожденная сила и Вибернова наука сделали ее равной самым сильным из гридей – но равной князю-волоту стать невозможно!

Однако Амунд ее мнения не спрашивал. Меч Фастара в его руке казался маленьkim – его собственный в дружине именовали «веслом» – и крутился легко, как прутик. Амунд двинулся на Горыню, и она едва удержалась, чтобы не попятиться: на этого противника ей приходилось смотреть снизу вверх. И Амунд не собирался ее щадить: на Горыню обрушился град ударов, щит трещал, едва не вываливаясь из окаменевших пальцев. Стиснув зубы, Горыня кое-как обивалась и отступала вдоль площадки. Ничего другого она не могла поделать с этой живой горой, этой тучей, из которой сыпались молнии. Почти как в тот далекий день, когда Виберн, посмеиваясь, вручил ей «щит бессмертного» и сказал «Отбивай!».

– Ноги береги! Ноги! – кричали ей гриди, и Фастар в том числе.

А что ноги? И так понятно, что ноги, да поди их тут убереги!

Словно отвечая на эту мысль, тяжелый клинок стегнул ее по бедру, чуть выше колена – Горыня не успела бросить щит вниз. Коротко звякнул шлем – еще один удар пропустила. Шипя или рыча сквозь стиснутые зубы, Горыня все же собралась с духом: поднырнула под очередной хлесткий удар, отведя его верхней кромкой щита, и в длинном выпаде ударила понизу. Но Амунд ловко поддернул ногу; шаг вперед, толчок щитом... Горыня пошатнулась, и тут же меч хлестнул ее между лопаток, как что вышибло дух из груди.

Как удержалась на ногах, сама не поняла. Стояла, прижав руки к груди и силясь вдохнуть. Продолжать бой никакой возможности: в глазах темно, в ушах шум. Слившиеся в громкий гул голоса и выкрики казались далеким шелестом леса.

Когда Горыня наконец смогла оглянуться, Амунд, уже отдав Фастару щит и меч, расстегнул кафтан и весело улыбался ей.

– Ну вот! – Подойдя, он похлопал Горыню по плечу. – А вы говорили! – Он бегло глянул на толпу дружины. – Кто говорил, не выйдет из девки отрок? Подучили – и вышел. Не хуже всякого другого, а то и получше иных. Подучится еще, опыта наберется – и хоть на кагана аварского ее пускай. Да, Горыня?

…Помня тот день, Горыня спокойно ждала, оглядывая одинаковые лица Олеговых братьев – сейчас на них отражалась одинаковая растерянность. Среди них не найдется равного Амунду плеснецкому, а значит нет такого, кто мог бы ее сокрушить. И само спокойствие ее ожидания убедило Олега, что продолжать испытание – только подвергать своих лучших людей напрасному позору.

– Довольно! – объявил он. – Я вижу, что дева-волот не зря оружие носит. И вот что я тебе скажу: если по нраву тебе у меня, то возьму тебя на службу, буду пять гривен в год платить. Идет уговор?

– Идет, господин, – Горыня наклонила голову.

Сегодняшнее испытание было легче, но куда важнее прежнего. Успешно его пройдя, она выполнила первую часть своей задачи – попала ко двору Олега киевского. Начиналась ее главная служба…

* * *

Сказав, что оружие Горыне будет вручать Брюнхильд, Рагнар пошутил, но об этом и правда вышел спор. Горыня и без того вооружена была лучше, чем иные Олеговы гриди, но дело не в клинке, а в клятве. Когда князь нанимает на службу ратного человека, то сам вручает ему оружие, и тот клянется: если предам господина моего, то пусть сей меч меня и зарубит. Нет хуже проклятия, чем погибнуть от своего оружия.

– Что ты будешь ей вручать? – говорил молодой князь Предслав, морованин и муж Олеговой старшей дочери. – Она же из волотов, а волоты камнями и дубинами бьются, не мечами. Видел у нее кистень с каменным билом – во! – Он показал свой кулак. – Самое ей по руке. А меч или топор волоту – не для их породы.

– Давайте вручим ей стрелу! – предложила Брюнхильд. – Лук у нее есть. И вручать буду я.

– С чего это – ты? – Вся мужская часть семьи воззрилась на нее в удивлении.

– Она же ко мне на службу поступает.

– Пять гривен я ей буду платить, – напомнил Олег.

– Ну ба-атюшка! – привычно взмолилась Брюнхильд. – Она будет со мной! Меня провожать, меня беречь! Я хочу, чтобы клятва ее связывала со мной! Тебе незачем, у тебя и так вон полсотни орлов!

Горыня слушала этот спор, сидя на лавке еще с левой, гостевой стороны, и неприметно наблюдала за лицами своих новых хозяев. Княжеское оружие она получала – всего месяц назад, после испытаний, Амунд принял ее клятву и вручил угорский однолезвийный меч. Самые именные и удачливые воины носили корляги, но такое сокровище нужно еще заслужить особо – или добыть. Ее верность уже была отдана Амунду, и именно его воля привела Горыню в Киев. Она принесла бы клятву Олегу – та все равно не имела бы силы, но если Брюнхильд настоит на своем, будет лучше. Амунду Горыня собиралась служить, а у Брюнхильд была одна с ним воля. Вот у Олега – совсем напротив.

– Такого не бывало, чтобы дева приносila клятву верности кому-то, кроме мужа! – внушила родичам Брюнхильд. – Она ведь не в жены тебе, батюшка, идет! – Брюнхильд фыркнула. – А я – дева. Мне девы служить могут. Как Ульбе служили девы, когда она на Девич-горе жила!

– Какая же она дева, когда в портах и во всем мужском! – возразил Рагнар. – Даже имя у нее мужское! Стало быть, она все равно что отрок!

– Вот уж истинно! – согласилась с ним мать, княгиня Бранеслава. – Ходит, будто ей тут Каракун каждый день да деды каленые¹²!

¹² Деды каленые – одно из названий ряженых на праздник зимнего солнцеворота (позже – святки). Один из немногих дней в году, когда надевать одежду другого пола не только разрешалось, но почти предписывалось обычаем.

Княгиня встретила деву-волота без восторга и смотрела на нее нелюбезно. Венцеслава, старшая Олегова дочь, была так изумлена, что все не верила глазам. Она и промолвила слова, встревожившие Горыню:

– Я думала, князь плеснецкий один такой на свете! А тут еще и девка!

– Волотов на свете много! – ответил ей боярин Избыгнев. – Может, и Амунд им сродни.

– Что, девица, Амунд, князь плеснецкий, тебе не сродни? – спросил Предслав, впрочем, без задней мысли, шутки ради.

Горыня притворилась, будто задумалась.

– Нет у нас в родне таких.

– Его матушке виднее! – посмеялся Предслав. – От Плеснецка до Угорских гор недалече.

Больше они о сходстве Горыни с Амундом не говорили, но как знать, не задумается ли кто-нибудь о возможной между ними связи?

Однако решения в этом доме принимал Олег, и у домочадцев не водилось с ним спорить. Кроме Брюнхильд, но и та спорила, будто играла. Пожалуй, Олег, если и впрямь захочет, сумеет прижать и эту свою дочку, думала Горыня. Брюнхильд, очевидно, тоже это знала, поэтому для нее и было важно добиться своего исподволь. Ее воля не ломала стену отцовской воли – подмывала и просачивалась, как вода.

– Да ведь сколько есть преданий о девах-поляницах! – напомнила родичам Брюнхильд. – Как ехал витязь по чисту полю, видит, впереди едет дева-поляница, он ее палицей по голове бил, а она говорила, комарики кусают. А как разглядела витязя, так взяла и за пазуху посадила. Позовите деда Осяяду, пусть он споет!

– Поляница – не женщина! – спорила с нею Венцеслава.

– Еще как женщина! Она ведь потом за того витязя замуж выходит! Была такая поляница – Златогорка, она и сына родила – Сокольника. А у Святогора была жена – она того... Перуна самого... – Брюнхильд запнулась, прекрасно зная, что хочет сказать, но также зная, что девице такие речи вести неприлично.

– Любовь с нею сотворить склонила, – пришел ей на помощь брат Рагнар.

– Вот! – подхватила Брюнхильд.

Как и ожидала Горыня, Брюнхильд в одиночку переспорила всех родичей: когда отец склонен был принять ее сторону, возражения всех остальных делались лишь для разговору. Если у них всегда так, то надежда Амунда, что Брюнхильд уговорит-таки Олега принять его сватовство, вполне состоятельна. Сошлись на том, что Брюнхильд вручит Горыне стрелу и будет пользоваться ее службой по своему усмотрению.

Посмотреть на это действие собралось столько народа, что гридница оказалась битком набита – явились и все Олеговы гриди, и городские старейшины-бояре. Те и другие таращились на Горыню с одинаковым любопытством. Но, не в пример былым годам, в этом любопытстве был оттенок почтения и опасения. Мельком оглядываясь и замечая эти взгляды, Горыня осознавала, какой долгий путь прошла за последние три зимы. Дева-волот, полностью вооруженная и умеющая с оружием обращаться, это совсем не то, что нелепая долговязая девка, в которой даже плохонький парень-весняк видит лишь легкую добычу для насмешек. Дескать, одолжи-ка дергу¹³ свою, на реку собираемся, ветрило требуется. Или – треснула у нас верея¹⁴ на воротах, постой-ка денек вместо нее, пока батю новую вырубит. Теперь-то ей никто такого не скажет. Но теперь Горыню мало волновало, что о ней думают и что говорят, и это означало, что она и в душе изменилась не менее, чем внешне.

Стрела оказалась непростая – с хитрым узором из медной и серебряной поволоки, врезанной в железо. Такое оружие, привезенное от корлягов, носили князья и самые прославлен-

¹³ Архаичный род юбки, кусок ткани, обернутый вокруг бедер и закрепленный поясом.

¹⁴ Верея – столб, на который навешивают створку ворот.

ные витязи. Князья заказывают такие стрелы, чтобы вешать на стену в дни пиров, а не терять на поле битвы; видно, Брюнхильд раздобыла эту красоту у отца или брата.

— Я, Горыня, Волотова дочь, Святогорова внучка, принимаю эту стрелу из рук госпожи моей, Брюнхильд-Стоиславы, Олеговой дочери, — говорила она, стоя перед княжеским престолом. Напротив нее стояла Брюнхильд, гордая, как Улыба из сказаний, у которой была своя дружина из двенадцати знатных дев. — Клянусь служить ей верно, о благе ее радеть как о своем, исполнять ее волю, а если нарушу слово, то пусть стрела сия поразит меня в самое сердце!

Она приложила стрелу ко лбу, к обоим глазам и к сердцу, как делают, когда клянутся на оружии. Брюнхильд отпила немного меда из серебряной чаши, передала Горыне. Та тоже отпила.

— Пей до дна, — негромко велела Брюнхильд.

В два глотка Горыня расправилась с медом... и замерла, глядя в чашу.

На дне ее могучий орел расправил крылья, бережно сжимая в когтях бедра стройной женщины, одетой лишь в браслеты на руках и ногах, а в поднятой руке она держала какую-то крупную ягоду, поднося ее к клюву своего похитителя.

— Это великан Тьяци уносит богиню Идунн, — пояснила Брюнхильд. — Ты знаешь эту сагу?

— Нет, — Горыня, с трудом оторвав взгляд от чеканного рисунка, взглянула на нее.

Глаза Брюнхильд горели, щеки разрумянились, она была полна воодушевления и тайного ликования.

— Я тебе расскажу, — пообещала она.

Но главное Горыня и сама поняла: чаша была подарком Амунда, именно потому орел на щитке перстня, который он ей дал как тайный знак, в точности совпадал с изображением на дне чаши. Только «ее» орел был без женщины.

И, судя по воодушевлению Брюнхильд, подарком этим она дорожила.

В честь девы-волота, принятой на службу, Олег устроил целый пир. Явился рослый дед Осляда, седой как лунь, с гуслями, и спел о деве-полянице, которая на равных сражалась с могучим витязем Дунаем, а в стрельбе его далеко превосходила. Судя по тем взглядам, которые князь киевский на Горыню бросал, он был рад такому прибавлению к своим домочадцам. «Ни у кого нет, а у нас есть!» — так с гордостью говорила Брюнхильд, и ее отец явно был с нею согласен. Любое чудо пришлось бы ему ко двору, лишь бы выделило его из ряда многочисленных князей и конунгов, разбросанных от Греческого и Хазарского морей до Варяжского. Горыня понимала, что ее здесь ценят как диковину, ну так что же, если она диковина и есть? Сотни взглядов не смущали Горыню, как не смущают они луну и звезды. Это в краю родном, в веси Волчий Яр, в глазах родичей и соседей она была неудобным дивом, которое они не знали, куда и девать. Только близ Амунда Горыня впервые в жизни ощутила, что нашла свое настоящее место. И три года трудилась, чтобы стать его достойной. Теперь, дадут боги, для ее силы найдется истинное применение, думала она, спокойным и уверенным взглядом окидывая пир в ее честь в гриднице самого князя киевского.

* * *

— Нынче поедем на стрельбище, — на второй день службы сказала утром Брюнхильд, пока сидела на лежанке, а челядинка, Зяблица, расчесывала ей длинные золотистые волосы.

Когда домочадцы закончили завтракать, Брюнхильд снова скрылась в девичьей, а потом вышла — уже не в обычном варяжском, а в угорском платье. Горыня, видавшая в Плесненецке угров, удивилась: уж очень Золотистая Брюнхильд не походила на это чернокосое, смуглолицее племя. Тем не менее на ней был наряд знатной угорской всадницы: белый кафтан с тонкой отделкой золотистого шелка, порты, высокие расшитые сапоги с загнутыми носами, круглая

шапочка на соболе, крытая золотистым шелком, и белый кожух на черной кунице, подпоясанный поясом златотканого шелка. Из-под шапки спускалась длинная золотистая коса. Стало понятнее, почему Брюнхильд не очень удивилась при виде девы, одетой отроком: она привыкла к тому, что девы тоже иногда носят порты. А если их носят девы угров, то чем хуже девы волотов?

Впрочем, настоящие угры на Олеговом дворе тоже были: конюши и сокольничьи. Смуглолицые, с длинными черными усами, они носили по две-три косы, белые кафтаны с отворотами и ушастые островерхие шапки. Даже среди пестрого собрания Олеговой дружины угры бросались в глаза.

– Это Елет, – Брюнхильд показала Горыне на мужчину средних лет, державшего золотистую кобылу под богатым седлом. – Он мой сокольничий. А это Бокош, конюший.

Брюнхильд показала на другого угра, намного моложе, и тот широко улыбнулся Горыне, показывая крупные зубы. Темные глаза его весело блестели, но во взгляде таилось опасение.

Поехали вчетвером: впереди двое угров, потом Брюнхильд, последней Горыня. Народ на Олеговой горе замирал на месте, привычно кланялся княжне, скользнув взглядом по ней и уграм, зато таращился на Горыню. Надо думать, и угры, и Олегова дочь в седле были зрелищем давно привычным, не то что дева-волот. Кольчугу и шлем она в этот раз не надела – незачем, была в кожухе и шапке, но вид огромной девы в мужской одежде и с косой вызывал ужас, как все непривычное, двойственное, потустороннее.

Однако, Брюнхильд дивилась ей только в первые мгновения. После того как она увидала перстень с орлом, изумление и настороженность из ее глаз исчезли. Едва она узнала, что Горыня – посланница Амунда, как из неведомого дива та превратилась в ее глазах в частицу самого Амунда, в залог их будущей встречи. Отсюда в глазах ее ожидание, надежда и даже смутная нежность – отстраненная, предназначенная тому, кого мысленный взор Брюнхильд видит за спиной Горыни.

Спустившись с Олеговой горы, миновали жальник и предградье.

– Это Ратные дома, – обернувшись, Брюнхильд показала плетью на несколько больших строений на широком пустыре. – Их поставили, когда отец собирал рать идти на греков. Там стоял Амунд пlesнецкий, когда проезжал через Киев. И там рядом наше стрельбище.

На стрельбище уже толпился народ – несколько десятков молодцов и отроков метали стрелы в круглые мишени, свитые из соломенного жгута. Здоровяк, дававший им наставления, поклонился издали Брюнхильд и помахал Горыне. Она сразу признала одного из Олеговых телохранителей, но пока она их не различала и по именам не знала. Уж верно, не тот, кого она по шлему дубиной приложила. Того-то сейчас легко отличить от прочих по огромным синякам под обоими глазами.

– Это отроки новонабранные, – пояснила Брюнхильд. – После того похода у нас большие потери. Вместе с Гримом, моим братом, погибли две сотни лучших хирдманов. Это все были русы и кияне, что ходили с ним на Константин-град. Они все погибли в одну ночь на Итиле, последнюю ночь, когда войско уходило с того места.

«Я знаю», – хотела сказать Горыня, но опомнилась: едва ли в пещерах гор Угорских об этом много слышали. Поэтому сказала то, что было более кстати:

– С какого места?

– Это было на берегу реки Итиль, неподалеку от моря и от города Итиль, где живет царь хазар. Там хазары напали на стан русского войска, когда оно возвращалось из-за моря. В начале этого лета. Хазары причинили очень большой ущерб. В первый день они напали на людей из Хольмгарда, на войско Олава конунга, но его самого там не было, а были его доверенные люди. У них погибло несколько сотен и вдвое больше было ранено. Ночью хазары напали еще раз, и против них выступил Амунд. На следующую ночь собирались отплывать, и две трети войска были уже в лодьях, на берегу оставался только мой брат Грим и его ближняя дружина, самые

лучшие воины. Они все там и погибли. Никто из них не дognал остальное войско. Потом Амунд и люди из Хольмгарда разделились, северяне отстали. Амунд прошел переволоку с Итиля на Дон, а что стало с теми людьми, неизвестно. Похоже, что хазары дognали их и перебили, но этого мы не ведаем допрямая. Об этой битве очень много говорят. Из-за нее разорван торговый мир между моим отцом и хаканом, и у Олава из Хольмгарда тоже. Никто не знает, что будет дальше.

– Но получается, что твой брат не отомщен? – спросила Горыня.

Она отметила про себя: Брюнхильд ничего не напутала, а значит, очень внимательно слушала рассказы о тех сражениях.

– Нет. И пока неизвестно, кто и когда сможет собрать столько сил, чтобы была надежда отомстить. Хазары сильны. Три русских князя выставили войско – Олав из Хольмгарда, мой отец и Амунд плеснецкий. Для сарацин этого было довольно, но при столкновении с хазарами они смогли всего лишь отбиться, чтобы уйти живыми. И то не все.

Брюнхильд нахмурилась, ее яркие глаза потемнели. Они шагом ехали вдоль стрельбища, отроки оборачивались и кланялись Олеговой дочери. Та в ответ кивала, растягивала губы в улыбке, но Горыня видела, что улыбается Брюнхильд лишь по привычке оказывать милость, а мысли ее совсем не веселы.

– Это очень большое несчастье, – негромко сказала она, подтверждая догадки Горыни. – Амунд оказался единственным из трех вождей, кто почти ничего не потерял: он сохранил жизнь, своих близких, всю добычу, а в дружине у него потери не больше, чем стоило ждать в таком долгом походе. Его удача оказалась самой сильной.

«А ты пыталась ее отнять», – с пробудившимся вновь осуждением подумала Брюнхильд, вспомнив отраву.

– Он предлагал моему отцу поделиться с ним удачей, – продолжала Брюнхильд. – Таким способом, чтобы… если бы между нами… им и мною, был заключен брак.

Теперь она говорила так тихо, что слышала только Горыня, едущая с нею бок о бок, и, наверное, угры впереди. Пока что она рассказывала то, что было известно всем, и Горыня знала это от самого Амунда. Важен был голос Брюнхильд, звучавшее в нем тайное, глубокое чувство. Сейчас она говорила о том, что было для нее важнее всего на свете.

– Но мой отец отказался. Для его гордости невыносимо быть обязанным своей удачей… чужому человеку, тому, кто был соперником… Гrima.

Горыне даже стало ее жаль. Брюнхильд опоила Амунда отравой, чтобы отнять у него главенство и передать своему брату; именно эта честь обрекла Гrima на гибель, а подчиненное положение позволило Амунду спастись. И Брюнхильд все это понимала. Да и собственное ее счастье теперь зависело от того человека, кого она чуть не сгубила своими руками.

– А если бы он умер? – вырвалось у Горыни.

– Кто? – Брюнхильд обернулась.

Горыня уже пожалела о своей несдержанности, но отступать было некуда. За время пути от Плеснечка у нее имелось время все это обдумать не раз, но и сейчас ее охватывало возмущение от мысли, что для Амунда поход мог закончиться в Чернигове – там, где он только начинался.

И если бы так случилось, подумала она, то к этой золотистой деве ее привела бы месть. Все хотели бы отомстить за своего князя – и Хавлот, и бояре бужанские, и даже телохранители. Амунда в Плеснечке все любят, как ни трудно чужим людям в это поверить. Но все они мстили бы Олегу – затея была его, а Брюнхильд лишь исполнила отцовскую волю. Однако она *знала*, что делает и что подносит Амунду. И не должна была оставаться безнаказанной. Мужчины деве не мстят. А для другой девы никакой обычай этого не запрещает.

– Князь Амунд. Тогда, в Чернигове… в начале похода, когда ты поднесла ему…

– Он бы не умер! – шепотом воскликнула Брюнхильд и быстро огляделась: нет ли кого слишком близко. Присутствие угрев ее не смущало: они своими глазами видели, как все это происходило, и не кто иной как Елет передал Амунду приглашение Брюнхильд на тайное свидание. – Он вовсе не должен был! *Никто не хотел*, чтобы он умер! Он должен был всего лишь не прийти в святилище на жребий. И он не пришел. И благодаря этому остался жив! – полуслепотом выкрикнула Брюнхильд. – Я погубила своего брата! Я уже наказана за это. И он, Амунд, это знает.

Не желая продолжать этот разговор, Брюнхильд поехала вперед. Вот почему он ее простили, подумала Горыня. Она уже сама себя наказала за умысел против него. Или боги наказали Олегов род. Добавлять к этому еще какое-то наказанье такой великодушный человек, как Амунд, посчитал излишним. Тем более что ему тот случай в итоге спас жизнь.

Невольно в душе Горыни шевельнулась жалость к Брюнхильд. Кое-что у них обнаружилось общее – у когда-то всеми презираемой верзилы-девки из глухомани и всеми любимой дочери могущественного Олега киевского. Кто бы мог подумать! Но если Горыня невзначай зашибла дуралея из соседней веси, то Брюнхильд принесла смерть собственному брату, надежде рода. Возможно, – судя по лихорадочному румянцу и постоянному сухому кашлю, сотрясавшему пятнадцатилетнего Рагнара, – последней надежде.

У края стрельбища Брюнхильд остановилась, Елет помог ей сойти с коня. На богато украшенном седле Брюнхильд привезла такой же лук в налуче, обильно украшенном серебром, и колчан, полный стрел. Лук у нее был угорский – с изогнутыми роговыми концами, укрепленный костяными пластинами и накладками. Не боевой – охотничий, боевой был бы ей не по силам, но на малый перестрел Олегова дочь стреляла весьма метко и несколько раз сажала две стрелы в одно и то же место. Выпустив стрелу и тем освободив правую руку, она опиралась ею о землю и делала ловкий и быстрый кувырок в воздухе, стоя на одной руке. А едва ее ноги касались земли, как она вставала ровно и прочно, вновь готовая к стрельбе. Проделав это метание, она бросала на Горыню задорный взгляд – вот как я могу!

Судя по одобрительным крикам оружничих, свою ловкость Олегова дочь показывала часто. Многие отроки оставили свои занятия и собирались толпой поглядеть, как стреляет княжеская дочь и ее новая «оружница». Горыне все яснее становилось, что такое обожание дружины Брюнхильд внушает не только красотой. В ней видят истинную деву из преданий: и красивую, и отважную, и способную кое в чем потягаться с отроками. Иные из парней для потехи пытались проделать тот же кувырок на одной руке, но под хохот товарищей бесславно падали наземь.

Вдвоем Горыня и Брюнхильд подошли к мишени посмотреть; обнаружив, что наконечник одной стрелы почти вытолкнул наконечник первой, вонзившись в то же место, Горыня не удержалась от удивленно-одобрительного взгляда. Даже ей такое удавалось считанные разы, и от княжеской дочери она подобной ловкости не ожидала.

– Я стреляю с шести лет, – сказала Брюнхильд. – Так что он велел передать?

Горыня не сразу сообразила, что теперь Брюнхильд говорит об Амунде. Быстро оглянувшись, она поняла: только сейчас на десятки шагов вокруг них никого не было, и хотя многие на поле видели их у мишени, слышать их разговор никто не мог. Так сложилось впервые за два дня; Олегова дочь постоянно была окружена ушами и глазами, днем и ночью. Похоже, случай поговорить без свидетелей будет выпадать им нечасто.

– Он сказал, что ты можешь мне доверять. Он готов ждать, пока твой отец не передумает и не согласится на ваше сватовство. А если он не передумает, то наш князь ждет от тебя знака. Он сказал, что готов пойти на твоего отца ратью и доказать, что его удача не меньше и он достоин получить тебя…

– Нет, нет! – испуганно воскликнула Брюнхильд. – Я вовсе не хочу, чтобы между ними была рать! Я хочу выйти за Амунда, потому что не знаю человека более знатного, доблестного и

одаренного большей удачей. Но я не хочу, чтобы мой отец при этом потерял последние остатки *своей* удачи.

– Но как же тогда? Один из них получит тебя, а другой потеряет. Ты не можешь быть покорна воле их обоих, если они не согласны между собой!

– Я что-нибудь придумаю. А ты мне поможешь. Ну, как он поживает? – спросила Брюнхильд, как будто это и волновало ее больше всего.

– Ну, как? – Горыня слегка повела плечом, не зная, какого ответа от нее ждут. – Скучет.

Это была правда, насколько она понимала; наверное, Брюнхильд приятно это услышать, а Амунду было бы приятно знать, что она это слышит. Самой Горыне было бы приятно узнать, что по ней скучает кое-кто... Ну ладно, тому не бывать. Хотя как знать, чего хочет избалованная княжеская дочь?

Брюнхильд пристально смотрела ей в лицо, пытаясь понять, что это значит и насколько можно верить.

– Ты ему родня?

– Нет.

– Как твое имя на самом деле?

– Горыня. Меня взабыль так и зовут.

– Но оно же мужское! – Брюнхильд округлила глаза. – Вот было бы лихо, если бы меня отец назвал Хаконом! Но ты же правда девица, я знаю! – Она усмехнулась. – Девки говорили.

Она имела в виду девок, которые водили Горыню в баню после дороги. Та тоже усмехнулась.

– Как же так вышло? – Дочь Олега оказалась любопытной. – Тебя прямо от рождения так назвали? Или когда ты... – она окинула Горыню взглядом с ног до головы, – сделалась отроком?

– От рождения. Моя мать пока тяжелая ходила, живот был огромный и высокий, к носу лез, как говорят. Все ждали, что сын будет, а то и двое сразу. Мне бабка рассказывала, матери мать. А родилась я – и одна. Но я уже тогда с двух младенцев была. Матери дорого обошлась – умерла она. Прямо, бабка сказала, как будто мне жизнь передала: как я закричала, она и дух испустила. А бабка меня взяла и говорит: это, мол, не девка будет, а Горыня-волот. Так и прозвали. Отец мне имени и не хотел давать, злился сильно. А как три месяца прошли, все уже привыкли: Горыня да Горыня. Он говорит, пусть так и будет...

– Но как это чудно – ты почти такого же роста, как сам Амунд!

– Князь на ладонь меня выше, – Горыня показала свою ладонь.

– Вас таких только двое на свете, и вы не родня! Как так могло выйти?

– Да я сама бы знать хотела, – Горыня вздохнула. – Про меня с детства чего только люди не болтали...

Глава 3

…После смерти матери бабка Оздрава, сама вдова, других детей не имевшая, перебралась жить к зятю, Ракитану, чтобы нянчить внучку. Выкармливали ее сразу три бабы: Ракитанова невестка, жена старшего брата, и еще две соседки. А у невестки через полгода младенец взым да и помри. Младенцы часто мрут, тут дивиться нечему, но уже тогда пополз слушок: великанье дитя де чужое дитя объело и уморило, жизнь выпило… Тетка после этого постегала Горыню веткой вербы, приговаривая: «Пушай твое кричит, а мое молчит» – в надежде, что явятся те невидимцы, которые подменили человеческое дитя на великанье, и обменяют обратно. Но Горыня так и осталась Горыней, никакие волоты или дивоженки за нею не пришли.

Росла Горыня точно как в сказании: в три года была с семилетнюю, в десять носила отцовы поршни и была ростом с обычную взрослую бабу, а в двенадцать те поршни ей стали малы.

Отец, напуганный растущим у него в доме «чудовищем», еще на четырнадцатом году попытался было Горыню сосватать. Приданое давал хорошее: корову, десять овец, не считая обычной скрыни с полотном и разным платьем. Да жениха отроки задразнили: дескать, она тебя за пазухой носить будет, на одну титьку положит, другой прихлопнет, а будешь с нею любовь творить – провалишься, придется «ay!» кричать… До того замучили, что отрок сбежал, как говорили, в Волынь или Устилог и там к торговому обозу пристал, уехал в ляхи или варяги, так его больше и не видели. По жениху Горыня не печалилась – родом из другой веси, Конетопа, он ее видел однажды тайком, а она его – никогда. Но бегством своим он разрушил, как выяснилось, единственный для нее случай зажить как все.

Горыня продолжала расти, и к следующему лету сравнялась с самым рослым в веси мужиком, дядей Почаем. В шестнадцать лет носы других баб уже смотрели ей в локоть. Сватать ее больше никто не хотел, на весенних игрищах, где находят женихов, над нею только смеялись: дескать, береза наряженная к нам сама пришла! Говорили, небось она столько ест, что и мужа проглотит невзначай! Отец, дурная голова, нет бы сказать, что девка работает за пятерых, сам жаловался, что, мол, ест много, не прокормлю. Кому ж такая нужна?

«Я и сам своей силе не рад», – часто вспоминала Горыня жалобы волота-лежебоки; бабка Оздрава часто ей рассказывала о волотах, подозревая, что внучка – из их породы. Отец в своих подозрениях шел еще дальше: высматривал у бабки, не ходила ли ее дочь ночевать на могилы высокие. Намекал, что мог ночью выйти волот из-под земли и с женкой того… блудное дело сотворить.

С другими девками Горыня большой дружбы не водила: они ее не считали за свою. Даже ее «сестры по плахте» воротили нос и считали несчастьем, что им привелось надевать плахты в один год с «дивоженкой». Горыня, нрав имея покладистый, только вздыхала и плакала тайком, но что же спорить, коли люди правду говорят? Когда надо было мять и трепать лен – делала работу за троих. Но в прядении не отличалась: скручивали Горынины пальцы слишком сильно и нитка часто рвалась, а ведь пряже тем больше почета, чем нитка тоньше и ровнее. Когда стала учиться ткать, обращалась со станом и нитками так осторожно, что дело подвигалось медленнее, чем у других. За две-три зимы за Горыней укрепилась слава непряхи-неткахи, и от этого она горько плакала. Ладно бы, была ленива, но чем же она виновата, что пальцы такие огромные, а силища непомерная?

Отличалась она на тех работах, где нужны сила и упорство. Когда у кого-то истощалась делянка и требовалось выжечь новую, Горыня уже в пятнадцать лет наравне с мужиками валила лес и корчевала пни. Было бы девкам можно, пахала бы. Зато на сенокосе, на жатве, когда ей доставалось идти следом за жнущей бабкой Оздравой и вязать снопы – она делала столько, что трое не угнались бы. Когда никто не видел, она брала и серп и жала вместо умаявшейся

бабки, захватывая в горсть сразу вдвое больше колосьев, чем помещается в ладонь обычной бабы, а серп в ее руке казался игрушкой. Бабка одна на свете ее и любила. «Это они, чадушко, силе твоей завидуют, – утешала она плачущую внучку, гладя ее по голове. – А еще боятся ее, потому и смеются. Люди часто над тем смеются, чего боятся, иначе как же им жить?»

Уже к пятнадцати годам Горыня знала: люди ненавидят то, чего боятся. А смех это так – покровец. Но за что же ее бояться? Чего она кому сделала дурного? Напротив – помогает вся кому, кому есть нужда. О том, что можно как-то по-другому, ей не приходило в голову. Парень хоть может драться, ему только больше уважения будет. Но девка-то что может? Были бы у нее хоть братья, может, заступились бы, думала Горыня, в воображении наделяя родных братьев добротой, какую они имеют далеко не всегда. Но отец после смерти матери так больше и не женился. Куда, говорил, еще мне жениться, я это-то диво дивное не прокормлю, на нее ж и хлеба, и полотна как на троих требуется! Горыня ж оказалась виновата, что отец вдовцом живет, что другие жена и дети ему не по силам. Правда, если верить, что про мачех рассказывают, то оно и к лучшему. В первую же зиму велела бы свезти падчерицу-верзилу в лес и там под елкой оставить. В детстве Горыня и впрямь этого побаивалась. Если есть дочь и падчерица, от которой добрые люди избавиться захотят – то это она, уродина, объедала и опивала…

В семнадцать лет мало кто еще не замужем – только хромая Хромуша, глухая Тетеря да Горыня-волотка. Но на павечерницы зимой она продолжала ходить – как не ходить, не водится так. Все девки ходят. Хотя сильнее павечерниц она ненавидела только Ярилины дни, когда девки красуются в венках, а парни в играх стараются эти венки выменять на поцелуй и все такое. При виде же Горыни в венке парни покатывались со смеху – тебе, говорили, только в лесу с дубами зелеными круги водить!

На павечерницах было почти то же. Не всякий раз, но в месяц раза три-четыре, в Волчий Яр приходили отроки из Конетопа или Глушицы – с ними Волчий Яр обменивался невестами. Приносили веретена в подарок, заводили веселые беседы, игры. Девки в такие вечера наряжались и бывали особенно оживлены, одна Горыня старалась заботиться в угол, где потемнее. Подаренные бабкой три бусинки – одна большая, белая, две черные с белой волной – смешно смотрелись на ее могучей груди, но где ж еще взять? Однако не было угла, чтобы укрыть этакую громаду – и сидя она была высотой с печь.

В тот вечер собрались, как обычно, в избе у одинокой вдовы Голованихи: каждая девка приносila ей или яичко, или пару реп, или полкаравая в уплату.

Сначала сидели смирно пряли, а Голованиха, как бывало, завела сказку. Девки просили «страшное», и для того пора была самая подходящая – снаружи темно, ветер веет, снег несет, а в избе натоплено, светильники масляные горят, веретена с глиняными пряслицами постукивают.

– Шли как-то девки в соседнюю весь на павечерницу, – начала Голованиха, – да мимо оврага, смотрят: кости лежат. Они озорные были, говорят: «Кости, кости, приходите к нам в гости!» Сказали, засмеялись да и дальше пошли, забыли. Вот сидят они, прядут, песни завели. Вдруг дверь отворяется – заходят какие-то парни незнакомые, собой красивые, веселые, одеты нарядно, орешков принесли, всех угождают. Одна девушка у самой печи сидела, она и видит: у парней зубы-то железные, а в поршнях не ноги, а кости! Она и давай другим шептать: девушки, подруженьки, пойдемте-ка по домам поскорее! А те не слушают, им с парнями весело. Она себе думает: сама уйду. Пробралась к двери, а парни непускают. Она толкнула одного, кинулась в дверь, а они ей кончик косы дверью прищемили. Она выхватила нож, отрезала кончик и бежать. Бежит, слышит – гонятся за нею навцы. Кости бренчат, железные зубы стучат. Видит – баня, она туда забежала, просит: «Обдериха-матушка, укрой меня!» Обдериха ее спрятала, соломой прикрыла. Забежали в избу навцы, на обдериху напали: где наша девка, отдавай! Обдериха им отвечает: это не ваша девка, а моя, я сама ее обдеру! Вот я попала, девушка думает! А те все спорят. Навцы говорят: «Это наша девка, мы ее до костей обгложем!»,

а та им: «Не отдам, сама обдеру!» Девушка выбралась тайком из-под соломы, выскочила, дверь в баню поленом подперла, да бежать. А тут и петух пропел...

Не успела Голованиха умолкнуть, как в дверь постучали. Девки взвизгнули от неожиданности.

– Это кости! Я боюсь! – заблеяла в притворном испуге Любичада, самая красивая и бойкая из волчеярских.

Была она рыжей, с задорными глазами, и ее прозвали Лисичадой, а кликали Лисичей. Года на два моложе Горыни, она верховодила среди девок и на всех игрищах была окружена отроками. Каждый раз на павечерницах ей кто-нибудь подносил веретено своей работы – иной раз она получала и по два. Подаренное веретено в конце вечера полагается вернуть с пряжей; жених несет его домой, показывает матери и бабке, и те смотрят, хороша ли пряжа, ровна ли, много ли было обрывов – можно ли такую рукодельницу сватать. Вот кто скоро замуж выйдет, да еще женихов всех переберет, не без невольной зависти думала Горыня. А ведь лицом она не хуже Лисичи – если бы кто дал себе труд присмотреться. Да где там – прикидываются, будто на такой высоте им не разглядеть.

Девки заныли и закричали, подражая своей вождевице. Одна Горыня молчала, понимая, что к ней игривость и шуточный испуг не идут.

– Отвори, Чаруня, – велела Лисича самой младшей в избе девке – той, что лишь минувшей весной надела плахту.

Чаруня отворила, и в избу, занося холодный воздух и запах снега, ввалились четверо парней из Конетопа.

– Ай, ай, кости! – продолжали кричать девки; многие вскочили с места, роняя веретена, расшалившись, залезли на лавки.

– Вон у них зубы железные!

– А вон кости в поршнях!

– Тише, девушки, тише! – унимала их Голованиха. – Чего вы тут напрядете! Матери заругают меня, не пустят вас больше! Скажут, у тебя не прядут, а только дурачества делают!

Этого бы ей и впрямь не хотелось: девичьими подношениями вдова и питалась всю зиму.

Да где там!

– Ай, где кости! – завопил Хотим – старший среди конетопских парней. – Боюсь!

С воплями парни стали метаться по избе, прикидываясь, будто хотят спрятаться, но убежища искали больше под подолами у девок. Девицы визжали, вырываясь из шальных объятий, иные пары так вдвоем, сцепившись, и валились на пол, об них спотыкались другие и тоже падали. Всю избу захватила беготня, гомон, толкотня. Парни хохотали, хватали то одну, то другую, кто-то с насеком обнял Голованиху. Чаруня упоенно визжала во всю голову, стоя на скамье возле двери. Вот так веселье на взрослых павечерницах, не то что на «младших» – там бабка скажет сказку, да и то не страшную, а то, говорит, с испугу описается...

– А-а-а бабушка, спаси меня! – заорал Нечайка и лихо прыгнул к Горыне на колени.

– Да ну тебя! – Горыня спихнула его. – Нашел бабушку, внучок!

Она в эту суматоху не вмешивалась: сидела себе на дальнем краю лавки, сжимая веретено. Да если бы она принялась так скакать, всю избу развалила бы и печь разворотила. Да и глупо – взрослая девка, восемнадцатая зима!

Кто-то ее толкнул, на нее упали сразу двое парней, веретено выпало и покатилось под ноги.

– Да ну вас, уймитесь! – Горыня подняла этих двоих, держа обоих за шиворот, и поставил на ноги.

– Пусти! – Нечай отмахнулся. – Вилы-то свои убери от меня!

– Так нечего лезть, жихари! – Горыня выпустила их. – Веретено вон у меня укатилось.

В таких делах всегда она была не находчива.

– Хватит, хватит! – замахала руками Лисича.

Потом, задыхаясь от смеха, стала поправлять растрепанные волосы и сбитое очелье. Глаза ее блестели, щеки горели – в суматохе Хотим успел поцеловать ее, и она еще не решила, обрушить его за это или сохранить дело в тайне.

– Мы вон веретена разроняли, матери заругают! – принялись преувеличенно возмущаться и другие девушки. – Сидели работали без вас, а вы пришли, сразу все вверх дном!

– У Горыни и то вон веретено отняли, храбрища! – фыркнула Червена.

– Уж прости, Горынюшка! – Нечай размашисто поклонился. – Экие мы колоброды! Ты уж не гневайся, прости нас. Мы ж не по злобе, а по малоумию.

Однако веретено ее нарочно толкнул ногой, так что оно укатилось далеко под лавку. Не лезть же ей туда у всех на глазах! И нитка оборвалась. Баба Оздрава ее бранить не будет, но девки видят. Опять, скажут, у неумехи нашей нездадча вышла. А так хорошо начало получаться! За весь вечер ни разу куделю не оборвала, пока этих шишков конетопских встрешный бес не принес! Лучше б их по дороге навцы съели!

Слезы подступили к глазам от обиды, но Горыня стиснула зубы и глубоко вдыхала, подавляя тягу заплакать. Она здесь старше всех, кроме Голованихи, не говоря уж о том, что здоровее – если разревется, то и впрямь будет смешна!

Она могла бы взять этих двух охальников за уши и оттрапать, как пятилетних, но не решалась – на это другая сила нужна. Тогда ее девки и вовсе на павечерницы пускать перестанут – скажут, дылда всех женихов нам распугала. А те и сами не пойдут – кому же приятно бывать там, где его перед девками унизили.

– Ты уж прости нас! – умильно улыбаясь, поклонился ей и другой парень, Светляк.

Но Горыня видела, как перед этим он оглянулся на Хотима. Тот смотрел, насмешливо прищурясь. Уж не задумали ли они чего?

– Не хочет наша красавица нас простить! – Нечай повернулся к девушкам и развел руками. – Вот беда-то! А уж мы-то...

– Надо подарочек поднести! – подсказал Светляк.

– Истинно! А у нас ведь есть подарочек! Козля, давай! – Нечай махнул рукой.

Товарищ их, длинный и молчаливый Козля, вынул из-под кожуха какую-то палку в пару локтей длиной и передал Нечею. Тот взял и с поклоном протянул Горыне.

– Прими, краса-душа, не побрезгуй! – сдавленным от смеха голосом добавил Нечай.

Плохо видя в полутьме, Горыня взяла и склонила голову, глядываясь. Вокруг было тихо – все наблюдали за необычным действом, только слышались смешки. Само по себе было смешно – конетопские парни у Горыни прощения просят!

– Веретенце тебе! – пояснил Нечай, и в голосе его за внешней угодливостью слышалось предвкушение, уже готовое прорваться ликующим хохотом. – Как раз тебе по руке.

– Ты, что ли, веретенце ей подносишь? – фыркнула Лисича. – Она у нас пряха-то знатная, за один вечер столько напрядет... Матушка твоя посмотрит и на другой же день сватать снарядит.

– О-ой, вот мы Нечаюшку-то и сосватали! – запела Червена. – Скоро-скоро будем ему «лебедь белую» петь да кудри чесать!

В это время Горыня наконец разглядела, что ей подсунули. «Веретено» оказалось из тех, что на свадебных гуляниях суют в ведра с пивом – жезл, вырезанный в виде мужского «кура»¹⁵.

Загорелось лицо. Первым побуждением было огнеть «веретеном» по дурным головам и Нечайку, и Светляка. Но этого Горыня сделать не решилась и просто швырнула подношение на пол.

¹⁵ Древнерусским словом «кур» обозначали и петуха, и мужской орган.

«Веретено» упало к ногам Червены. Та наклонилась, сразу разглядела, что такое, и залилась хохотом.

– Ой, стыдобушка! – задыхаясь, бормотала она, пока девки, теснясь, разглядывали «подарок».

Девки хохотали, зажимая руками рты, отворачивались будто в смущении, чуть не плачали от смеха.

– И не стыдно вам! – дрожащим голосом выдавила Горыня.

Судорога стиснула горло, она будто закаменела и только поэтому не заплакала. Чувствовала она себя как помоями облитая, но понимала, что ни в чем не провинилась и не заслужила такого обращения. И от этого откуда-то из самой глубины души поднималась злость, вытеснившая даже обиду.

– Так а что ж еще? – Нечай упер руки в бока и качнулся. – Тебе такой кур только и впору, да только ни у кого такого нет!

– Хорошо, что хоть своего «петушки» верно оцениваешь! – от отчаяния Горыня чуть не впервые в жизни попыталась ответить достойно. – Вашими хилыми корешками только мышей пугать!

Девки опять захохотали, и Горыня приободрилась.

– Я, может, и напряду столько, да как ты своей матери потом такое поднесешь? Она тебе бы так и дала этим «веретеном» по лбу!

– Чего ты напрядешь? – видя, что смеются уже над ним, Нечай тоже начал злиться. – Ты, осталопина дурная, моего брата сгубила! Людям добрым от тебя один вред! К лешему тебе идти, мхи зеленые прясть!

– Я сгубила? Кого это я сгубила?

– А Бажилу? Какой парень был! А как вздумали его с тобой обручить – пропал совсем! Из дома ушел, может, его в живых уж нет! Твоя мать на могилах ночью гуляла, с навцом полежала, вот и выродила такую орясину! Всей нашей волости на позор!

– Не трожь мою мать! – рявкнула Горыня, и девки с испугу присели – до того Горыня так орала один раз в жизни, когда у всех на глазах медведь залез в овсы и надо было его оттуда выгнать. – Ее с навцами никто не видел! Своей матери ступай «куров» подкидывай! Может, выродится у нее что-нибудь потолковее тебя!

– Ты сама свою мать сгубила! Ступай теперь сама на могилы, может, там тебе выйдет из-под земли женишок, подарит лягушек мешок…

– Замолчи! – в отчаянии выкрикнула Горыня.

Поняла: сейчас она его убьет. Голову охватило пламенем, кулаки сжались сами собой. Вот бы он взял и исчез как-нибудь! Сквозь землю провалился!

Горыня вдохнула и поняла, что от ярости не может дышать, она не слышит, что он там говорит дальше. Над заставить его замолчать и не позорить дальше ее мать на том свете!

– Чарунька! – заглушая голос Нечая, крикнула она. – Дверь отвори!

Девчонка, привыкшая, что ей всегда отдают этот приказ, соскочила с лавки и распахнула дверь.

Горыня шагнула вплотную к опешившему Нечаю, ухватила его одной рукой за ворот кожуха – он так и не успел раздеться, – другой за порты, и приподняла, оторвав от земли. В несколько широких шагов она пересекла избу и с яростным замахом вышвырнула парня за дверь, наружу. В тот миг, как ее ворог с коротким воплем улетел в снежную тьму, Горыня впервые в жизни испытала острое наслаждение души – то зло, которое осаждало ее без вины всю жизнь, наконец-то было выброшено прочь.

И она с шумом захлопнула дверь.

– Хи-хи, – первой не выдержала Червена.

Следом захохотали и остальные.

– Как она его, а?

– Ай да верзила!

– А вы думали!

– Будете знать, конетопские, как наших девчонок задирать!

Даже парни смеялись, хоть и были пристыжены. Самый лучший из их товарищей улетел, как сноп!

С горящим лицом Горыня села на прежнее место. Ярость схлынула, ей уже было стыдно и неловко. И кур этот дурацкий... и за мать обидно... Слухи, будто ее мать гуляла по ночам на жальнике и там повстречала мертвца или мамонта подземельного, от кого и понесла, ходили очень давно и считались за правду, хотя бабка Оздрава уверяла, что ничего такого за ее дочерью не водилось ни до замужества, ни после. Но как же переубедишь людей, которые придумали себе средство объяснить непонятное?

Горыня села было к прялке, но вспомнила – веретено оторвалось и укатилось под лавку, лезть теперь у всех на глазах там шарить... Да и какая пряжа – руки дрожат. Пойти бы сейчас домой, к бабке... Да этот недоносок небось околачивается у избы. Не пойдет же он один ночью через поля.

– Пойдите подберите вашего витязя, – унимая смех и утирая влажные глаза, посоветовала Хотиму Лисича. – А то он там... корешок себе отморозит...

– Придется этот привяза-а-ать... – провыла Червена, кивая на «подарочек», так и валявшийся посреди избы, и все снова зарыдали от смеха.

Хотим, подергивая ртом – дескать, плевали мы на ваши глупые насмешки, – направился к двери. Выходя, кивнул Козле, призывая за собой. Обнаружив, что остается один среди вражеского войска, Светляк бегом кинулся за ними.

Он же вскоре вернулся.

– Э, э! – завопил он, снова распахнув дверь и встав на пороге.

– Да будет вам туда-сюда метаться, шишиги! – уже не шутя закричала Голованиха. – Всю избу выстудили, бей вас Перун, а у меня дрова на исходе! Вся изломалась, как из лесу ту корягу волокла!

– Э, коряга... – Светляк смотрел выпученными глазами, лицо его перекосило от ужаса. Девушки смолкли.

– Он не шевелится! – бухнул Светляк; у него стучали зубы. – И не отзывается! Коряга... Об корягу... Приложился...

Зазвали в гости кости, только и подумалось Горыне.

Парня внесли в избу, уложили на лавку. Попробовали привести в чувство – он не откликался. Побежали за дедом Будняком, знахарем и костоправом.

– Эх-хе-хе! – приговаривал дед, заходя в избу и отряхиваясь. – Бывало, и я на павечерницах гуливал, да давненько-то не зазывали... Неужто нынче девок и повеселить некому? Ну, показывайте, какого-такого витязя удалого девки веретенами зашибли?

Все расступились. Дед склонился над парнем, взял за руку, подержал.

– Огня дайте! – махнул рукой, чтобы поднесли ближе светильник, поднял парню веко, взгляделся.

Выпрямился.

– Да он мертвый. Шея сломана, видать. Кто же его так приложил-то? – уже без ухмылки спросил Будняк.

Потрясенные, все дружно обернулись к углу у печи, где стояла Горыня, ни жива ни мертва.

– Ты, Горынька? – Дед удивился: никто не ждал буйства от смиренной, хоть и непомерно рослой девушки. – Вот она, кровь-то волотова... Так я и знал – когда-нибудь да скажется.

Нечай неподвижно лежал на лавке. Как мертвый.

Мертвый он и есть... Дед же сказал...
И это она его... об корягу головой...

Навалился ужас – холодный, черный, как прорубь, и гулкий. И туда-то ее неудержанно затягивало, все глубже и глубже...

* * *

Ее же еще заставили отнести тело Нечая в Буднякову клеть – Голованиха вопила и причитала, что не останется в избе на ночь с мертвецом. Да и кто бы остался – мертвец нехороший, как раз такой, какие любят вставать... Горыня отнесла мертвое тело на руках. От ужаса она не чуяла ног под собой, а труп казался тяжелым, как мешок с камнями. Впервые в жизни ей пришлось какого-то парня обнять – и то уже мертвого. Доигрался, паробок, доштился... На теле даже не было крови, и оттого в ужасный исход верилось с трудом.

Когда Горыня воротилась домой, отец и бабка уже крепко спали, похрапывая каждый на свой лад. На столе слегка мерцал оставленный для нее огонек жирового светильника. Горыню тряслось, как сильного мороза, зуб на зуб не попадал. Двигаясь с привычной осторожностью, она разделась, погасила светильник и легла на свой постельник – вдвое длиннее и шире других. Казалось, если делать все как всегда, то этот морок отступит, исчезнет. В голове стоял гул, мысли путались, но Горыня твердо знала: она не виновата. Она никого не трогала, пряла себе и пряла. Зачем им было ее дразнить, а хуже того, поносить ее мать? Да они, недоноски, ее в живых-то не застали! Но даже и так – разве она хотела Нечая убивать? Вовсе нет. Кто же знал, что глупая курица Голованиха приволокла из лесу корягу на дрова да так и бросила у двери? И что Нечай, вылетев через порог, об эту корягу приложится головой и сломает шею?

Горыня укрылась овчинным одеялом и кожухом, но все равно еще долго не могла унять дрожи. Кое-как заснула, а когда утром проснулась, то почти верила, что все это был страшный сон.

В обычное время поднявшись, принялись за дела. Бабка Оздрава кормила скотину, доила корову, Горыня чистила хлев и колола дрова – уже года три назад как-то так получилось, что все тяжелые работы от отца перешли к ней. Привычные заботы успокаивали, навевали ощущение, будто все идет как всегда, но Горыня проходила по родному двору, как по тонкому льду. Конетопские парни ушли домой вчера; надо было ждать, что вскоре после рассвета оттуда приедут за телом. Поди, уже едут. А что если конетопские набегут сейчас всей толпой и набросятся на нее? Отбиваться? Еще зашибешь невесть сколько народу. Что она им, мамонт подземельный? Но если полезут во двор – придется отбиваться. Здесь и отец, и бабка, и скотина... Горыня ежилась от мысли, что ей придется и дальше вести себя, как дикий волот, если ей не оставят другого выхода.

Но что делать? Исправить ничего нельзя. Оставалось ждать, чем дело обернется. Здесь мысль упиралась в тупик: Горыня не могла даже представить, что будет. На ее памяти ничего похожего в округе не случалось. Люди умирали от разных хворей, двое или трое погибли при встрече с лесным зверем,тонули в реке, дед Невмал как-то сверзился вниз головой с бортевой липы, тоже насмерть... В Глушице мужика, говорили, два лета назад молнией убило в лесу. Но никогда еще на ее памяти человек не умирал от руки другого человека, а то, что рука была ее собственная, только увеличивало недоумение Горыни.

Время и бежало, и тянулось, а ее тайный ужас перед содеянным все рос и рос. «Я и сам своей силе не рад» – она могла бы повторить эту жалобу за великаном с Угорских гор. Но теперь она по-настоящему его понимала!

Родным она не сказала о вчерашнем ни слова – язык не поворачивался. Как о таком расскажешь? Но от необходимости ждать, пока все неизбежно откроется само, опускались руки и кусок не лез в горло. Бабка даже спросила, не заболела ли она. Горыня молча потрясла головой.

Она еще не закончила с дровами, когда в воротах появились три волчеярских мужика, из числа уважаемых большаков. Увидев Горыню с топором в руке, переменились в лице и отступили, ничего не сказав.

Вздохнув, Горыня пошла в избу. Судьба придет – за печкой найдет.

– Батюшка, там пришли к тебе, – сказала она, кладя топор под лавку у двери. – Почай, Сухарь и Домыч.

– Так чего не заходят, раз пришли?

– Они сами не зайдут. Выйди к ним.

– Да куда я пойду в такой холод? Скажи им, чтобы заходили, дома я.

– Не пойдут сами, – повторила Горыня, догадываясь, что мужики поостерегутся подходить к ней близко, пока не выяснилось, совсем дылда сбесилась и на всех подряд кидается, или как. – Выйди.

– Вот же девка бестолковая! – ворча, Ракитан взял кожух и стал искать шапку. – Гостей в дом позвать не может! Непременно надо отца старого тревожить, на холод гнать… Вот наказала меня Недоля…

Горыня села у печки. К отцовскому ворчанию и мелким попрекам она давным-давно привыкла и пропускала мимо ушей, а тем более сегодня. Сейчас он еще не так разворчится! Но деваться некуда.

Отец ушел и не возвращался. Заходить в дом большаки, видно, не стали, изложили ему все у ворот и повели смотреть мертвое тело.

Не было отца довольно долго. Наконец стукнула дверь. Горыня не шелохнулась, так и сидела у печки.

Ракитан вошел – на нем не было лица. Вытаращенные глаза, рот открыт… в руке полено. Ошалелым взором он нашел Горыню; лицо его изменилось, растерянность сменилась яростью, и он бросился к ней, замахиваясь поленом.

– Убила… убила… – отрывисто, задыхаясь, выкрикивал он, норовя огреть дочь поленом по голове. – Убила… меня…

Горыня уклонилась, спряталась за печь, потом, когда отец сунулся туда, перехватила полено и убрала за спину. Ракитан схватил у печи рогач для горшков, но им размахнуться в тесноте было неудобно, и он раза два только задел Горыню по плечу.

– Что ты бесишься? – бабка Оздрава в испуге схватила его за руку. – Что она сделал, что ты на дочь накинулся, как на ворога? Да прям у печи!

– Убила меня! – Ракитан рухнула на лавку и схватился за голову. – Орясина! Дивоженка эта, проклёнуш, невидимец, а не девка! Прах ее дери!

– Да что она сделала?

– Парня конетопского насмерть зашибла! На павечернице!

– Да ну что ты? – Бабка не поверила. – Не может быть, чтобы насмерть! Отлежится, еще плясать будет!

– На том свете будет плясать! Он уже холодный! Поди у Будняка в клети глянь! Окоченел весь!

Оздрава оглянулась на Горыню. Видя, что отец унялся – его злости никогда надолго не хватало, – та вышла из-за печи и села на прежнее место.

– Что это отец говорит такое?

– Это правда, – Горыня вздохнула. – Конетопские… на павечернице… Сначала мне… срамной уд вместо веретена подсунули… А потом стали матушку поносить… ну, что она с мамонтом… гуляла. Я ему говорю, поди вон. Взяла его да и выкинула из избы. А там коряга лежала в снегу, Голованиха приволокла. Он на нее попал и шею сломал. Кто же знал, что там коряга? А смерти я ему не хотела, мать-земля мне послух.

— Будешь теперь старикам под дубом отвечать, чего хотела... — заворчал по привычке Ракитан, но тут же опять схватился за голову. — Ой, долюшка моя злосчастная! С меня же спросят! Уж лучше бы ей после матери живой не быть! Лучше б я ее малой в лес свел и там оставил! Пусть бы лешаки и дивоженки ее там растили!

Горыня вздохнула. Она и сейчас чувствовала себя крохотной девочкой, которую легко отвести в лес и там бросить на погибель. Но хоть она и выросла с бортевую липу, это может с ней случиться и сейчас.

— Мне теперь отвечать! — бормотал Ракитан, то грозя Горыне кулаком, то хватаясь за голову. — Мать свою сгубила... и отца теперь сгубила! Да что ж ты за проклятущая такая... Чтоб тебя лихоманки взяли!

— Хватит! — прикрикнула на него обеспокоенная бабка: родительское проклятье может сбыться. — Медовушке, знать, доля такая выпала, что же дитя винить?

— Сгубила меня! — не слушая, твердил Ракитан. — Да лучше я ее в зыбке придушил! Кабы знать... Ведь конетопские не ей мстить за парня будут — мне! Убьют меня! Смертию убьют! И ничего им не будет, так как по правде... по покону...

— Кабы знать, не отдала бы я Медовушку за тебя! — бросила в досаде бабка. — Это все Глазун, покойник мой... Приискал зятька...

Горыня прикусила губу. Отец винил ее в том же, в чем и парни — в смерти матери. Но они-то чужие. А он-то свой...

— Ты был бы мужиком, давно б унял тех охальников, кто и тебя позорит, и жену твою, и дитя! — сердито продолжала Оздрава. — Да тебе б только со своим детищем воевать!

— Пропадите вы обе пропадом! — Ракитан схватил шапку и пошел вон. — Чтоб вас обеих косой взял!

До вечера Ракитан не возвращался — ходил по дворам, жаловался на долю и выспрашивал, что дальше будет. Бабка тоже выходила потолковать с соседками. Выяснилось, что из Конетопа приезжали за телом и сговорились, что завтра у Перунова дуба будет разбор дела. Даже старики были в недоумении: кого судить и кого звать в видоки? Из всех причастных говорить за себя могла только Голованиха, вдова, а все прочие, кто был на злополучной павечернице, жили в воле своих отцов. Опрашивать девок и отроков не водится, их слова не имеют настоящей силы, и люди заранее качали головами: ничего, дескать, толкового из этого дела не выйдет. Головное дело есть, а видоков почитай и нет.

Горыня за весь день ни разу не вышла со двора. Сиди уж, сказала бабка, а то люди от тебя разбегутся. Толкуют теперь, мол, давно ждали, как волотова сила себя явит...

На другой день к полудню отправились к берегу Луги¹⁶, к старому дубу, где жители окрестных весей собирались и на праздники, и на вече, и на суд. Пошли почти все мужчины, повели с собой Голованиху и шесть бывших на павечернице девок, в том числе и Горыню. Отвечать на обвинение в убийстве предстояло Ракитану.

— Чем я богов и дедов прогневил, что послали мне долю такую злую? — не переставал причитать он по дороге, пока правил лошадью. Позади него в санях сидела Оздрава, а Горыня шла рядом. — В недобрый час я на жене женился! Не в добрый час эту дивоженку зачал! Не в добрый час жена ее на свет породила! Да лучше б ее вештицы в утробе еще забрали! Да лучше б женка полено родила!

На Горыню это все наводило дремучую тоску. На второй день она привыкла к мысли, что гибель Нечая — не сон и не морок, но выхода по-прежнему не видела. Смерть — это все, конец, дороги дальше нет, один темный лес. Она нарушила покон, отняла жизнь человеческую, и теперь выходов было два: или как-то примириться с миром, чтобы жить в нем дальше, либо... не жить, уходить в дремучий лес... искать себе какое-то другое место. Но если их с отцом

¹⁶ Здесь имеется в виду не та Луга, которая в Новгородской области, а та, что в Волынской области Украины.

и бабкой изгонят из Лужской волости, можно ли выжить втроем? Как начинать все хозяйство заново в дремучем лесу? Чем лучше она осознавала, в какую тесноту засунула Недоля их маленькую семью, тем глубже ее затягивало в черную воду отчаяния. Было бы у отца семеро сыновей, да мать была бы жива... Но при семерых братьях конетопские паробки не посмели бы так зло шутить над нею и глупой напраслиной позорить память ее матери! И ничего бы этого не было...

В глубине души тлела слабенькая надежда, что отец беду как-нибудь сумеет избыть – на то ж он и отец. Старики придумают что-нибудь, чтобы выправить перепутанную пряжу судьбы, свить заново оборванную нитку. Если не Нечаеву, то хоть ее, Горынину. Но едва она успевала немного утешить себя, как совершенный ужас снова вставал перед нею во весь рост. Убийство! Это не яичко разбить. После таких дел нельзя жить, будто ничего не было. Что-то изменится... все изменится. Но как изменится – этого Горыня даже вообразить не могла.

Вот уже виден над рекой Перунов мыс, а на нем черно от народу. И на заснеженном поле, и на льду стояли сани. Конетопские уже прибыли. Шесть старцев от них стояли под дубом. Вился дымок – они расчистили выложенный камнем жертвенник и развели огонь. Тесным кругом стояли конетопские мужчины. Вид у них был хмурый, но кольев, дубин и топоров в руках не держали –уважение к Перунову дубу требует порядка. Подходя, Горыня мельком примирила Козлю – он имел по обыкновению немного сонный вид, и Хотима – этот выглядел злым.

– Ничего, Ракитка! – Им навстречу вышел дед Будняк, размахивая посохом. – Не кручинься так-то, чай голову не снимут! Меня слушай, что я буду тебе говорить, то и отвечай!

Его уверенный вид немного подброрил Горыню. Бабка Оздрава слезла с саней и отвела Будняка в сторону, где принялась что-то оживленно ему толковать. Взглянув на них, Горыня вдруг узнала посох в руках старика – это был тот самый «срамной уд», с которого все началось. Тьфу! Нахмурившись, она отвернулась. Надо думать, дед подобрал эту дрянь в избе Голованиху, но зачем сюда-то тащить? Будто без того мало сраму!

Подошел Почай; Горыня осталась возле саней, а Ракитана Почай повел к дубу. Со всех сторон взгляды своих и чужих устремлялись к Горыне. Она старалась людям в лицо не смотреть, но, случайно встречаясь глазами с кем-то, замечала какое-то странное удовлетворение, понимание. Не то чтобы люди ей сочувствовали, нет – наконец-то она совершила то самое, чего от нее ждали много лет, и теперь стала людям понятнее. Глядя на смиренную трудолюбивую верзилу-девку, люди настороженно ждали, в чем и как скажется ее нечеловеческая природа – и вот дождались.

Почай и Будняк входили в число шести старейшин, что были назначены разбирать дело со стороны Волчьего Яра. Всего судей набралось двенадцать, и они выстроились друг против друга перед дубом. Каждая сторона привезла рыжего петуха, того и другого зарезали, окропили кровью ствол спящего дуба и снег у корней, тушки подвесили на нижние ветки. Старики возвзвали к Перуну, прося присмотреть, чтобы все было по правде и справедливости. Горыня невольно передернулась: петушья кровь, упав на корни дуба, пробудила бога, взор Перуна опустился с небес на землю, и теперь владыка гроз и молний видит ее, орясину, что не умеет со своей силой совладать...

Может, хоть Перун ее поймет? Ему ведь тоже случается молнии ронять куда попало от яростного изнеможения, оттого и мужика в Глушице убило – а он разве что Перуну сделал? Но богу виру не присудишь...

Начали разбирать. Первым Селила, отец Нечая, рассказал, как ночью паробки прибежали к нему с вестью, что его сын убит в Волчьем Яру. Как утром он взял лошадь и поехал за телом, как дед Будняк подтвердил ему имя виновной. Потом подозвали Ракитана и велели рассказать, что он об этом знает, но он мог только пересказать услышанное от Почая, которого дед Будняк на заре уведомил первым. Спросили Голованиху, как все вышло, но та больше жаловалась и

плакалась на свою вдовью долю. На вопрос, с чего вышла драка, кто первый начал, мямлила что-то, как «молодежь шутила меж собою, как оно водится».

– Вот это чья шутка? – дед Будняк поднял деревянный уд. – Видала такое?

Несмотря на горестный повод разбирательства, со всех сторон послышались сдавленные смешки. «Давненько не видала – не узнает», – вполголоса бросил кто-то.

– Это кто к тебе в избу принес?

– Паробки принесли, – вспомнил Голованиха.

– А для чего?

– Горыньке подали…

В толпе опять засмеялись.

– Кто подал?

– Да эти вот… То ли тот, которого она… то ли другой с ним был.

– И дальше что?

– Она… осерчала.

– Я тоже сейчас осерчал, – Почай нахмурился. – К девке не сватались, на посад не сажали¹⁷, по рукам не били мы с конетопскими, волос не чесали – а уды подносят? Видел бы я – такого бы леща сам отвесил, чтоб до завтра в голове звенело!

– Так на то и павечерницы – шутят молодежь, – вступились за своих конетопских.

– За такие шутки уши обрывают.

– Дальше-то что было? – спросил Деногость, конетопский старейшина, у Голованихи. – Дайте бабе толком рассказать!

Но Голованиха не хотела ничего рассказывать толком, а хотела, чтобы ее отпустили восвояси.

– Ну, девки смеяться стали, дескать, Нечай к Горыне сватается. Сейчас, дескать, она ему полное веретено напрядет…

– И что – она его этим уdom по лбу не огrela? – спросил Будняк.

– Не было такого. Она ж… сминая.

В толпе опять зашумели. Все помнили, что «смиренную» деву сюда привели за убийство, но если за поднесенный уд она в драку не полезла, тогда как же?

– А дальше что?

– Нечай стал отвечать, мол, не женюсь я на тебе, тебя мать от навцов родила… Тут она его взяла за ворот да из избы вон выкинула.

– Прямо так выкинула?

– Через дверь.

– И как же он убился?

На этот вопрос Голованиха не хотела отвечать, а вместо этого опять заплакала.

– Я вдова одинокая, ни детушек нету, ни брата, ни братаница, ни свекра, ни деверя, порадеть обо мне некому, все сама, все сама, и на реку по воду сама, и в лес по дрова сама, излюмашься вся, домой едва добредешь, а кто же знать мог, что такая беда приключится…

Устав от ее бормотания, Деногость и Почай позвали Хотима. Ему задавали почти те же вопросы и от него узнали, что Нечай убился об корягу, лежавшую за порогом в снегу. Его спросили, не говорила ли, дескать, Горыня, что сейчас его убьет, Хотим сказал «нет», Светляк сказал «да», но волчеярские девки возразили, что Горыня отвечала только про их корешки, которыми мышей пугать…

Наконец дошло дело до Горыни. Когда она встала под дубом и положила руку на его холодную кору, у многих дрогнуло сердце: грустная девушка огромного роста казалась сродни

¹⁷ Сажать на посад – основная часть свадебного обряда, соединяющего жениха с невестой.

дубу, такому же могучему и молчаливому, опоре земного мира, способному служить дорогой на тот свет.

— За что ты на парня-то осерчала? — спросил ее Почай. — Расскажи людям. Не бойся, говори как есть. Мы чай не волки, не съедим.

В голосе его прозвучало сочувствие — все уже поняли, как складывалось дело. Срамной уд парни заранее вырезали еще в дома, в Конетопе; первым это придумал не то Нечай, не то Светляк, этого и сам уцелевший шутник не помнил. Но людям уже стало ясно, что смиренная девка разозлилась не без причины и паробки сами вздумали поиграть с огнем. «Был бы вместо нее парень, такой же здоровенный, хрена с два кто-то стал бы ему такие шутки шутить, — говорил Будняк. — Понимали б, что одним пальцем зашибет. А девка, думали, безответная... Привыкли над нею измыватьсь-то...»

— Он мою мать поносил, — неохотно ответила Горыня; про уд ей не хотелось упоминать. — И меня.

— Как поносил?

— Что она... по жальнику гуляла и навца повстречала. И что это я виновата, что она родами умерла.

— И чего ты с ним сотворить хотела?

— Выкинуть его вон. Чтобы замолчал и мою мать не срамил понапрасну.

— Об корягу головой?

— Я не знала про корягу. Ее под снегом и видно не было.

Другие девушки насчет коряги ничего внятного сказать не могли: собирались уже в густых сумерках, и коряга никому на глаза не попалась.

— Это еще выспросить надо, кто парня научил про мою дочь болтать непотребное! — сердито встряла бабка Оздрава. — Уж сколько лет вракают про навца! Не ходила моя Медова на жальник, кроме Весенних Дедов или если помрет у нас кто!

— Так ваши же и вракали! — ответила ей сестра Нечаевой матери. — Ваши же и болтали, им, чай, лучше было знать!

— Был бы у меня зять побойчее, давно бы за бесчестье спросил с тех, кто эти враки вредоумные по свету разносил! А то трепали языками, вот и дотрапались до беды!

Вступили в спор и другие бабы, и Почай с трудом унял шум, отогнав лишних подальше. Старики под дубом принялись совещаться.

— Вот что мы решили, — объявил Деногость, когда все уже порядком замерзли и мечтали поскорее домой, к теплой печке. — Головное дело случилось, хоть и без намерения. За отрока надо виры взять десять гривен серебра...

— Мать-земля! — не удержался от вопля Ракитан и вцепился в волосы под шапкой.

— Но раз уж парень сам был виноват, то уменьшить на треть, — утешил его Деногость. — Семь гривен взять. А не хочет Ракитан платить — изгнать из Лужской волости. Потому как иначе за нами право на месть покон оставляет...

— А ты бы девку-то согнал из дома, — посоветовал Ракитану какой-то старик из конетопских. — Она у тебя нынче свою силу в руках почуяла. Была смиренная, а теперь ее не тронь! Рано ли, поздно ли, опять она кого-нибудь зашибет, верно тебе говорю!

— Как зверь лесной — если крови человечьей попробовал, непременно опять придет! — добавил кто-то в толпе.

— Да я б ее сам в болоте утопил, проклятую... Семь гривен! Где я возьму столько!

— Ну уж это ты сам со своими решай...

С тяжким вздохом Почай и другие волчеярские хозяева приняли решение суда, с обещанием выплатить положенное не позднее следующих Дожинок. Всем было ясно, что Горыня не так уж и виновата и парень сам затеялссору, но от убийства так просто не отмахнешься. Ракитан семь гривен серебра не соберет — неоткуда ему столько взять, даже если корову продаст,

и вира разложится на всех хозяев, как если бы подняли мертвое тело и не сыскали виновного. Но приходилось радоваться и тому, что конетопские признали вину самого Нечая в его недоброей доле. Иначе могли бы отказаться от виры и оставить за собой право на месть¹⁸. А такие кровавые дела, раз начавшись, делятся порой годами и уносят десятки жизней.

¹⁸ Собственно, по законам родового общества в случае убийства законодательных исходов дела было три. Родичи убитого имеют право на кровную месть – это первый; чтобы избежать смерти, виновный должен покинуть владения общины – это второй; если он хочет остаться с правом сохранения жизни, должен выплатить виру – это третий.

Глава 4

Два дня все шло вроде бы как обычно. Горыня с бабкой возились по хозяйству, отец же дома почти не бывал. Ходил по соседям и родичам, жаловался на судьбу, толковал, как же быть с вирой. Горыня уже надеялась, что больше ничего страшного не случится и потихоньку все забудется – к весне, когда хочешь-не хочешь придется вылезать со двора и идти на пашню и огороды. При мысли о павеченицах ее передергивало, да в весенние Ярилины круги не тянуло. Чего уж ей теперь круги водить! Никто ее в жены не возьмет, пора оставить эти глупые надежды. Никакой жених к ней близко не подойдет! По всей Волынской земле сороки разнесут – де Ракитанова Горыня парня убила, который к ней сватался… Только подошел с речами любезными – а она его хвать головой об корягу…

На третий день после суда Ракитан пришел домой повеселевший и даже под хмельком.

– Дали мне умные люди мысль одну… умную! – объявил он бабке. – Как мне и беду избыть, и с вирой развязаться!

– Да ну? – недоверчиво спросила бабка, подбоченясь. – Это какую же?

– Надо эту чуду лесную в челядь продать!

– Че-во? – Оздрава наклонилась к нему.

– Что сказал! Люди говорят, в царстве Греческом девка либо парень стоят двадцать золотников, а серебром это будет – двенадцать гринен. До греков нам не добраться, а вот в Волынь ее отвезти и там князю продать – десять гринен он даст! Семь на виру отдашь, и еще три мне за беспокойство! Надо ж будет работника нанимать, коли я один в дому останусь.

– Да ты что такое болтаешь? – бабка не поверила ушам. – Работника нанимать, а родное дитя в челядь продать?

– Какое она мне родное! – Ракитан вскочил с лавки и заорал так яростно, что бабка отшатнулась. – Кощею она родное! Мамонтам и дивоженкам! Я ее знать не желаю, и не дочь она мне! Под суд отца подвела! Чуть под кровную месть не подвела меня! Сгубила честь мою! В разор разорила! Как мне с нею жить после этого всего! Люди будут шарахаться. На всю жизнь я теперь под этим позором ходить буду из-за нее! И замуж ее только леший возьмет – и то еще мне позор, старая девка на руках! Давай, мать, пеки пироги, собирая меня в дорогу – на днях повезу ее в Волынь! А то дождусь – она и меня самого зашибет.

– Тьфу! Не старый вроде еще, а из ума выжил!

Горыня сидела, охваченная разом холодом и жаром, обездвижен от потрясения. «Не дочь она мне» – отец произнес слова отречения от кровного родства, и хотя без послухов они не имеют полной силы, его намерения стали ясны. От этого казалось, что земля тает под ногами и тянет тебя в бездну подземельную. Да неужели так она виновата? В ушах стучала кровь, на глаза просились слезы, но не могли пролиться.

Решив, что зять пьян и не в разуме, Оздрава не стала больше спорить. Но настало утро, а Ракитан от своего замысла не отказался. Напротив, явно повеселел, видя средство избыть разом все беды: расплатиться с вирой, избавиться от дочери-позорища и даже приобрести пару гринен сверх. Огорчала лишь необходимость куда-то ехать, но ближе Волыни покупателей на Горыню не найти. Через Лугу время от времени ездили торговые люди, пробираясь на Буг, а с него на Вислу и в ляхи, а то и до самого моря Велетского. Но ждать таких гостей можно было полгода и больше; волынский же князь каждое лето снаряжал обоз на море, где тамошние варяги охотно покупали челядь.

– Князь, может, десяти гринен и не даст, – мечтал Ракитан. – Но уж не меньше семи. Я ему скажу: в Константин-граде по двадцать, мы цены-то тоже знаем. А меньше семи нельзя никак. Мне дед Лихарь сказал – за морем Хазарским лежат страны бохмитские, а там за девку молодую дают серебра, сколько она сама весит.

– Да врет! – с досадой возразила бабка. – И на свете нет столько серебра, за всех девок платить!

– Врет, само собой. А вот если бы... – Ракитан смерил Горыню взглядом. – Она девка хоть уже и не сильно-то молодая... зато весит! Как иной бык! Это серебра будет... будет... – Он ошалело огляделся. – Всю избу доверху засыпать можно!

Горыня, слушая эти разговоры, только хмурилась. Она видела, что отец повеселел, найдя какой-то выход, но сам этот выход никак не укладывался у нее в голове. Он хочет ее продать? Князю, сидящему в Волыни? Чтобы тот или оставил ее себе, или отоспал еще дальше, да хоть за то Хазарское море, где девушки стоят свой вес в серебре? Ранее ее опасения не шли дальше изгнания семьи из волости – тогда им пришлось бы искать свободный кусок земли, валить там лес и устраивать новую пашню, но это и без изгнания приходилось делать раз в несколько лет.

Но... оказаться в числе чьей-то челяди? В чужих людях? Утратить волю? При всей своей простоте Горыня не хуже других понимала разницу между свободными людьми и челядинами. Сейчас, будучи живущей при отце дочерью, она прав имела не больше челядинки, но здесь она могла стать свободной – выйдя замуж, заведя свое хозяйство и детей. Могла бы превратиться со временем в большуху не хуже Почаевой жены Ивины – уважаемой женщины, в чьи дела по управлению хозяйством и детьми с их семьями даже сам Почай не суется. Но в челядь? У челяди ни дома, ни рода, ни прав, ни чести нет. Там она опять кого-нибудь зашибет. И все из-за дурня Нечая? Если в первые дни Горыня отчасти жалела парня, то теперь почувствовала к нему почти ненависть.

И все-таки она не верила. Да разве б она продала отца, сколько бы он ни выносил ей душу своим ворчанием и попреками?

– Она ведь единственное твоё дитя, какая ни есть! – внушала Ракитану бабка. – Отдашь ее в чужие люди – без детей вовсе останешься! Сгинет твой род!

– А я, – Ракитан даже оживился, – как ее избуду, заново женюсь!

– Ты? – Оздрава всплеснула морщинистыми руками и едва не засмеялась. – Надумал!

– Я на том серебре разживусь, за самую лучшую невесту вено заплачу! И будут у меня еще семеро по лавкам! Да не такие, а всем на зависть!

– Да куда ты в Волынь собрался? Говорят, там лихоманка ходит, люди целыми весями в лежку лежат! Пристанет и к тебе, да в дороге!

– Не пристанет! – отмахивался Ракитан. – Раз уж я решил, я так и сделаю!

Последним утром Оздрава разбудила Горыню, пока отец еще спал.

– Вот что, – зашептала она, отведя внучку в дальний угол за печь. – Видно, из головы у него не выбить эту дурь. Ты меня слушай как следует. Я замуж вышла в Глушицу, а родом я из земли Бужанской, из веся Круглодолье. Помнишь, я сказывала?

– Помню. – Горыня знала, что дед Глазун не находил себе в округе невесты по нраву и повстречал бабку на игрищах на берегах реки Черногузки, где начинались владения какого-то чужого князя, не волынского.

– Вам до Волыни за один день не добраться, тут на два полных дня дороги. Вы где-то встанете на ночлег, а пока он будет спать, ты уйди потихоньку. И трогайся на восточную сторону. Путь там нелегкий, а я его толком-то не знаю, – призналась бабка, – один раз я там прошла, с Глазуном, и было то сорок лет назад, – она вздохнула, вспомнив то безоглядное бесстрашие и веру в судьбу, что свойственны крайней молодости. – Помню, от Черногузки шли мы через лес целых полдня, вышли на другую какую реку, а уж по ней еще день шли до Луги. Стало быть, тебе от Луги надо на восток пробираться до Черногузки. А по ней за один день до Круглодолья дойдешь. Уж не знаю, жив ли хоть кто из тех, кто меня помнит, но уже дети-внуки их должны быть. Ты им родня, они тебя примут. Отца-то моего, Здравита, уж давным-давно нет на свете, а из братьев, может, кто и есть. Звали их Витенец, Погоняй да Изгод. Витенец

тебе будет «старый вуй»¹⁹. При мне, еще как я дома жила, у него двое сыновей народилось. Твои они, стало быть, вторые вуйные братья, коли живы.

Ракитан заворочался на своей лавке, и Оздрава заторопилась.

– Я тебе в короб собрала: сальца, хлебца, рыбки вяленой, яичек печеных. Только уж ты стараися до ночи жилье какое найти, не в лесу ж тебе ночевать.

– Я постараюсь, – шепнула Горыня по привычке слушаться бабку, но еще не осознав толком, что ей предстоит сделать.

– А самое-то важное – вот, – Оздрава торопливо сунула ей в руку что-то круглое.

Глянув, Горыня увидела клубок серой тонкопряденой шерсти величиной с небольшое яйцо – как раз хорошо помещалось в ладонь.

– Это «дедова кость»!

– Что?

– Я когда замуж вышла, мне моя бабка в скрыню с приданым положила дедову кость. В ней помощь и защита чуров моих, материнского моего рода. Я Медове передала, как она за твоего отца вышла, у нее в скрыне лежала. Отдала бы я тебе, кабы... – «Кабы кто взял замуж», догадалась Горыня. – Ну да все равно пусть у тебя будет. Нечего моим чурам здесь оставаться, как помру, пусть лучше к своим возвращаются. А тебя «дедова кость» в пути оборонит, верный путь укажет, счастье-долю сыскать поможет. Как дойдешь в Круглодолье, отдавай кто там большуха сейчас, Витенца хозяйка или кто. Она знает, как с этим быть. За пазуху сунь, чтобы отец не видел.

Горыня слышала про такие обереги: их кладут в скрыню с приданым, и в них живут чуры, приезжающие из отцовского дома в новый дом выходящей замуж девушки. Вид они имеют разный: бывает, куколка, свитая из лоскута старой бабкиной рубахи, или деревянный чур, или мешочек с каким-нибудь волшебным корешком, или вот – клубок. Но почему кость? Горыня осторожно пощупала серый клубок. Вроде бы есть там что-то твердое, но, может, это просто пряжа так плотно намотана.

И только потом, пока завтракали, до нее дошло, какой крутой поворот делает ее судьба. Она покидает родной дом – и скорее всего, навсегда. Бабка хочет спасти ее от продажи в челядь и переправить к своей родне. И там у нее наконец-то объявится братья!

* * *

Дорога до Волыни Ракитану была известна: несколько раз он ездил туда с другими волчярскими мужиками на торг. Горыня же никогда не отдалась от родной веси, кроме как в лес по разным надобностям, на сенокос, или на поле, или к Перунову дубу. В чужой веси ей, кажется, и вовсе ни разу в жизни побывать не доводилось, и она заранее ежилась от мысли, как это – оказаться среди чужих людей, совсем незнакомых! Прежние свои восемнадцать зим она прожила под бдительным оком чуров, но вот осталась позади околица Волчего Яра, и сюда их взор уже не достанет. Утешала ее только «дедова кость» за пазухой. Это самые сильные чуры – от матери к дочери, а потом к ее дочери, – и Горыня надеялась, что они и в чужих краях о ней порадеют. И все же было неуютно, будто теперь над нею другое небо – грозное и опасное.

Отец правил санями, Горыня шагала рядом. Чем дальше сани удалялись от знакомых мест, чем дальше тянулся заснеженный лес – молчаливый, черно-белый, лишенный красок, будто тот свет, – тем сильнее сгущалась тоска на сердце.

В санях лежал ее дорожный короб и еще один мешок – с одеждой. Скрыня с приданым – Горыня подготовила его, как всякая девка, хотя давно начала сомневаться, что понадобится, – осталась у бабки. Кому она там, у князя, стала бы дарить сорочки, пояски, рушники, предна-

¹⁹ Вуй – брат матери, старый вуй – брат бабки. Второй вуйный брат – троюродный.

значенные для новой родни? Горыня вздохнула, подавляя желание опять заплакать. Ей все еще казалось, что длится нелепый сон. Из обычной девки, отцовой дочери, она уже почти превратилась в проданную рабыню, в челядинку, без рода и без прав. Она хорошо помнила неподвижное лицо Нечая, застывший, удивленный взгляд, но ощущала при этом только досаду. Ни жалости, ни чувства вины. Она вовсе не хотела его убивать. Придержал бы язык – и сейчас еще шутил бы с девками. Доштился – и себя, и ее погубил. Доля ему выпала недобрая – да и себе Горыня ничего хорошего не ждала.

– Скоро уже Ломовье, – отец обернулся к ней. – Зайдем к кому, обогреемся. Только ты того – молчи про тот случай. Не говори, что, мол, человека убила. Я скажу… не прокормить мне тебя, вот и везу.

Горыня не ответила – промолчала вместо обычного «хорошо, батюшка». Это уже был мятеж, но Ракитан ничего не заметил, воодушевленный возможностью наконец избавиться от «позора» – присутствия в дому дочери-дылды, которая, может, вовсе и не его дочь, а неведомого мамонта подземельного. А у Горыни на уме был совет бабки: с ночлега уйти потихоньку. Ему она и собиралась последовать. Не прокормить, говоришь? Уж я тебя уважу – никогда в жизни тебе больше кормить меня не придется…

Занятая этими мыслями, она вдруг заметила нечто странное – на заснеженном кусте, торчавшем из сугроба, висела рубаха. Горыня вздрогнула – белая сорочка среди леса была так неуместна, что пугала, навевала мысли о чем-то потустороннем. Казалось, пошарь глазами вокруг – найдешь мертвое тело. Вид у сорочки был несвежий, и, видимо, висела она здесь уже немало дней.

– М-мать-земля! – Тут и Ракитан заметил рубаху и с перепугу чуть не упал в сани. – Фух! Показалось, будто стоит кто. Белый стоит и руками машет…

Горыня поежилась: рубаха и впрямь напоминала некое белое существо у края речной дороги. И уж верно, недоброд. Боязливо на нее косясь, будто ожидая, что бросится, Ракитан проехал, прижимаясь к другому берегу, и только когда белое пятно на кусте осталось позади, успокоился.

– И надо же кому… – бормотал он. – Видно, ворожба какая… Или перекинулось… нечто.

И опять оглядывался, ожидая, что неведомая нечисть, притворившаяся простой рубахой, появится в своем истинном облике.

Вторая сорочка была серой и висела на ветке так давно, что приобрела вид грязного засохшего комка, усыпанного частичками коры и прочим лесным сором. Горыня увидела ее, только подойдя на два шага, и вздрогнула, будто обнаружила змею почти под ногами. Отшатнулась и взгляделась. Ну да, сорочка из небеленого льна – вон порванный ворот, вон рукав. А это здесь зачем? Горыня взглянула на отца – он ничего не заметил. Ну и ладно. Зачем ему зря пугаться?

Третью находку Ракитан обнаружил сам – это был насов, широкий и еще довольно новый, повешенный на ветку ивы и тщательно расправлена, как для сушки. Судя по тонкой черной отделке – старицкий. Теперь отец уже не испугался, а засмеялся:

– Может, у них тут дождь прошел – из одежи разной? Вот бы у нас в Волчьем Яру – мы бы понабрали себе, кому что надобно!

Придержав лошадь, он соскочил с саней, подошел к иве и осмотрел насов.

– Да новый почти!

– Это подношения могут быть, – сообразила Горыня.

– Какие подношения? Русалок одаривают по весне, на Кривую седмицу, а теперь что? Навки все спят давно, и просыпаться им еще не скоро.

Теперь они продвигались вперед, внимательно осматривая дорогу и деревья по сторонам. И заметили еще немало всякого тряпья: мужские, женские, детские сорочки, насовы, порты,

дерги, платки. Они висели на ветках, на стволях, на пнях, или лежали, полуза�отые в снег. Иные были здесь уже давно, а иные выглядели так, будто их принесли вчера или сегодня.

– Что за диво! – воскликнул Ракитан. – В какую же мы такую землю заехали, что здесь платье на ветках растет! Бывал и я раньше в этих местах, а такого чуда не видывал! Мать-земля! Ты погляди, какая шапка!

Шапка и впрямь была хороша – на рыжей лисе, крытая синей шерстью. Она была надета на обломанный ствол чуть ниже человеческого роста, как что сухая палка напоминала идол-чур, наряженный ради велика-дня.

– Новая совсем! – Ракитан сошел с саней и осмотрел шапку со всех сторон. – Глянь, лиса-то какая!

Внимательно осмотревшись по сторонам, он снял шапку с кола. Горыня хотела его остановить, но находка уже была у отца в руках.

– Боярину будто кому! – Ракитан осмотрел ее внутри и снаружи, потер мех. – Мне как будто впору!

И не успел Горыня его остановить, как он скинул свой овчинный колпак и надел новую шапку.

– Как на меня пошило!

– Батюшка! – взмолилась Горыня. – Не трогал бы ты! Мало ли, кому это принесено!

– Ты отца не учи! – Ракитан снял шапку с головы и решительно сунул за пазуху. – Боги послали – что же от своего счастья отказываться?

– Не нам это послано! А те, чье это, огневаются, добра не будет!

– Да где ж они? Пока огневаются, мы уж за десять верст уедем. Ну, пошли, чего встала?

Было уже заполдень, когда впереди показалось Ломовье – с десяток дворов, растянувшихся вдоль реки на невысоком правом берегу, между ними под снегом огороды за плетнями. Проехали вмерзшие в лед мостки возле проруби, свернули по въезду на берег. Ракитан здесь бывал и знал кое-кого из хозяев. Миновав три двора, постучал у четвертого. Залаял пес, потом отворилась вырезанная в створке ворот дверь. Выглянула востроносая баба средних лет.

– Боги в дом! – бодро приветствовал ее Ракитан. – Дома ли хозяин?

Баба пристально оглядела Ракитана:

– Волчеярские, никак?

– Так Ракитан я, Дремлин сын! Где Корза, матушка? Нету его, что ли? Куда подался в такую пору?

– Дома он. Только лучше б вам своей дорогой ехать. Занедужил наш хозяин.

– Да мы не потревожим. Пусти, матушка, обогреться. Дочь со мной. Нам дорога еще дальняя – в самую Волынь едем.

Баба взглянула на Горыню,мявшуюся возле саней. Оглядывала ее довольно долго, отчего-то хмурясь. Привыкшая к таким взглядам Горыня горбила плечи, стараясь казаться поменьше.

– Ну, заходите, – баба все же не могла отвергнуть древний закон и отказать в приюте усталым зимним путникам. – Только невесело у нас нынче.

– Да мы не на пляски! Погреемся да и поедем.

При упоминании плясок Горыня вздрогнула, вспомнив ту павечницу. Баба тем временем отворила всю створку ворот, и Ракитан завел сани во двор. Устроив лошадь, Горыня вслед за отцом вошла в избу. Другая баба сделала ей знак вести себя потише и кивнула на отгорожу:

– Хозяин наш там, худо ему. Третий день в жару мается.

Стараясь двигаться бесшумно, Горыня села на лавку у двери и боязливо огляделась. Изба была как изба – такая же печь в углу, как у них в Волчьем Яру, такие же лавки, полки и горшки, такие же кожухи, сукманы и коцы на деревянных колышках. Но все здеськазалось чужим и каким-то иным, даже мелкий сор на полу. Горыня ощущала себя как на том свете, и

болезнь хозяина составляла в ее глазах обязательную часть существования того света – обители горя. На том свете и не может быть светло и весело!

Хозяйка уже мешала мутовкой из тонкой еловой ветки жидкое тесто для блинов, полу-шепотом рассказывая сидящему у стола Ракитану:

– Да у нас в Ломовье человек десять хворает. Свирепица уж коли придет, то одной головы ей на поживу мало – всю зиму прогостит, проклятая, а кого и с собою утащит.

– И давно она у вас? – Ракитан поежился.

Свирепица – зимняя лихорадка – захаживала в былые годы и в Волчий Яр, но этой зимой о ней пока не слыхали.

– С месяц, может. После Карабуна и началось. Как стемнеет – слышно, ходит кто-то по дворам, в оконца скребется, в ворота стучит. А утром смотришь – под воротами следы козы, да не от четырех ног, а от двух!

– Это как? – опешил Ракитан.

– Козы ноги у ней, Свирепицы! Дед Невзвид первым с нею повстречался. Вышел по воду рано утром, чуть рассвело – смотрит, над прорубью стоит женщина роста огромного, простоволоса, вся в белом. Как увидала его – махнула красным платком. Он домой бежать, ведро уронил, ни жив ни мертв. Прибежал на двор к себе – дрожмя дрожит. Бабка его было липовым цветом поила – не помогло. Она тогда его сорочку на реку отнесла, положила. Вроде ему легче стало. Она уж думала – вынесли Свирепицу. А в ночь слышит: опять в оконце стучатся. К утру дед и помер. И другие у нас видели – идет из лесу белая такая баба, сама на лыжах, простоволоса, в руке платок красный, толкается помелом, а на помеле – череп…

За разговором хозяйка взглянула на Горыню и вдруг замолчала.

– А это кто с тобой? – осипшим голосом спросила она.

– Где? – Ракитан обернулся. – Да это дочь моя, Горынька. Я ж сказал: с дочерью еду.

– Точно? – Хозяйка села, оставив мутовку в широком горшке. – Точно ли дочь?

До того она видела Горыню на дворе возле лошади, и под открытым небом огромность гости не так бросалась в глаза, как в тесноте избы среди привычной утвари.

– Да уж мне ли ее не знать! – Ракитан хлопнул себя по коленям.

– А что она у тебя... великая собой?

– Уродилась невесть в кого! – Ракитан развел руками. – Такая мне судьба тяжкая Недолей напрядена.

– У меня нет красного платка, – Горыня показала свой, снятый и тепле избы, – обычный, серый. – И я не в бе... – Она поглядела на свой кожух из белой овчины и осеклась. – Ноги у меня не козы.

Но вид ее ног – из-за поршней, набитых для тепла соломой, которые надевают поверх черевьев, они казались особенно огромными, – не успокоил хозяйку.

– Ой, божечки, сгубит она нас... – заволновалась вторая женщина, еще кто-то из родни хозяина. – Батюшка Перун, оборони...

– Да не бойтесь! – заверил ее Ракитан. – Коли вы про ту беду слыхали, с парнем конетопским, так то... другое дело. Там она без меня была. А при мне не дам я ей своевольничать, людей губить. Она при мне-то смиренная.

– Ты уж, Ракитанушко... – Бледная хозяйка ловила воздух ртом, не зная, как быть. – Мы тебе завсегда... никогда зла не делали. Чтобы ты на нас-то ее навел... Уж мы-то... сами вас в дом пустили...

– Да не кручинься ты, мать! – утешал Ракитан. – При мне она смиренная, говорю же. Не тронет у вас никого! Пусть только попробует – ужо я ей! – И погрозил Горыне кулаком.

– Да уж известно – кто ее в дом пустит, там ни одного человека не уцелеет! – пробормотала вторая женщина, комкая на коленях передник. – Ох мне!

– Я нынче ее в Волынь везу! Не воротится она сюда никогда!

– Увезешь? Верно ли?

– Истовое слово!

– Только как бы сделать, чтобы она не губила нас? Кто ее везет, того она не тронет, это ведомо, а вот кто попадется ей...

– Верь мне – не тронет она здесь никого, землей-матерью клянусь!

Но тревога не ушла с осунувшихся лиц – хозяйки не очень-то Ракитану поверили. Горыня молчала, не зная, как их понимать: не то сюда дошел слух о злополучье с Нечаем, не то ее приняли за ту самую лихорадку, Свирепицу, что бродит вокруг веси и насыщает на людей хворь. За стол Горыню не позвали; начав жарить блины, хозяйка сперва покормила Ракитана, а потом сложила новые блины в миску и попросила его передать Горыне. Горыня поела, сидя на лавке возле двери. Было это очень обидно, но она была уже весьма голодна, а как знать, скоро ли удастся поесть еще. Раньше было как – куда ни уберешься по делам, в лес, или на луг, или на реку, всегда знаешь, что дома ждет бабка Оздрава с теми же блинами, или с кашей, или с щами. А теперь кто и где ее ждет?

Поев, Ракитан собрался дальше в дорогу. Заглянул за отгорожу – хозяин, Корза, лежал весь красный, потный, и вторая женщина вытирала ему лоб.

Когда Горыня, поклонившись в благодарность, тоже собралась уходить, к ней боязливо приблизилась та вторая женщина – Горыня так и не услышала, чтобы ту кто-то назвал по имени.

– Возьми, добро соторя, – она протянула Горыне полотняный сверток. – Как поедете, положи на дороге где-нибудь от жилья подальше.

– Что это?

– Относ... *ей*. Чтобы отсталла от Корзы-то. Ты... коли ты увезешь, оно вернее будет.

Горыня с сомнением посмотрела на сверток: это была рубаха больного, в которой сидела лихорадка. Не очень-то ей хотелось брать относ в руки, да и коробила мысль, что ее сочли сродни самой Свирепице. Разве она похожа? Только что росту великого, но не ее же в том вина!

– Что стоишь? – окликнул ее отец. – Просят тебя добрые люди помочь – так помоги! За хлеб за соль! – Он поклонился хозяйке. – Разве ж я добрым людям не помогу?

Он взял у женщины свернутую рубаху и сунул к себе подмышку.

* * *

Ближе к вечеру прибыли к веси под названием Своятичи; здесь была уже другая волость, и из здешних даже Ракитан почти никого не знал. Своятичи раскинулись на длинном холме, куда с реки поднимался пологий въезд; избы смотрели на реку сверху, и с холма река была видна на довольно большом протяжении. Надо думать, приезжих и увидели издалека: когда Ракитановы сани приблизились, на крайних мостках ждали человек десять мужиков. И в руках они держали не хлеб-соль, а луки и длинные рогатины.

– А ну стой! – крикнул один, когда сани приблизились. – Дальше нет тебе дороги, а не то стреляем!

– Люди добрые! – Ракитан в изумлении придержал лошадь. – На кого ж вы исполнчились? Не на меня ли? Я ж не злодей какой, не разбойник! Добрый человек, Ракитан, Дремлин сын, из Волчьего Яра. У нас с вами отродясь никакого раздора не было... а что тогда Близята поляны выкосил, так я... А меня Тихогость знает, мы с Почаем стояли у него, как ездили, бывало... Позовите Тихогу, пусть он скажет!

– Кого везешь-то, Ракитан из Волчьего Яра? – перебил его тот же голос.

Он принадлежал еще довольно молодому мужику, со светлыми прядями в русой бороде; моложе других, он выделялся решительным и боевитым видом, а рогатину держал, будто готовился встретить медведя. Ракитан даже струхнул слегка, хотя и не верил, что кто-то может взабыть желать ему зла.

– Кого везу? – Ракитан оглянулся на Горыню; устав за целый день ходьбы, она под вечер усилась в сани. – Да это ж…

– Свиридицу везешь! – перебил его мужик. – К нам ей ходу нет! Проваливай к Кощею!

– Да какая ж она Свиридица! Это дочь моя, Горыня! Стал бы я Свиридицу возить!

– Она не спрашивает, кто стал бы, а кто не стал! Кого выберет, к тому и сядет в сани, а то и прямо на плечи! Возить себя по белу свету заставит. Разворачивай оглобли! Ее-то железо не берет, а тебя мы подстрелим, коли сам не уберешься.

– Да куда ж я уберусь на ночь глядя! – перепугался Ракитан. – Тут засветло ни до какого иного жилья не добраться! Могилами дедовыми клянусь! Пусть меня Перун убьет на месте – это дочь моя! Одно горе мне с нею! Не знаю, как избыть! Теперь вот и к добрым людям не пускают – с ее-то славой дурной! Пропадать мне теперь, в лесу сгинуть! Волки меня съедят! Добрые люди! – взмолился он. – Смируйтесь, не гоните! Хоть в бане ее заприте до утра, если боитесь. Мне только дайте приют! В Волынь ее везу. Навсегда избуду, только не дайте пропасть!

– Вези хоть в Волынь, хоть к лешему в болото, а нам здесь не надобно ее! – поддержал молодого другой мужик, полный, широколицый, с почти седой бородой и большими мешками под недобрыми глазами. – У нас еще в прошлую зиму пять человек померло, и Тихогость твой тоже! Не надо нам ее здесь больше! Мы слыхали, что в Ломовье она гуляет. А ты оттуда и едешь. Нас не проведешь.

– Небось узелки с костями в поклаже у нее? – выкрикнул еще кто-то.

– Был я в Ломовье… – Ракитан растерялся, не зная, что бы такое придумать. – Ох, горе мое злосчастье! – Он вдруг вспомнил испуг тамошней хозяйки. – Шагу ступить за порог дурная твоя слава не дает! – напустился он на Горыню. – Жили-не тужили, а вот до чего ты отца довела – добрые люди на порог не пускают, гонят, будто волка, будто бешеного пса!

Мужики, слушали, как он ее распекает, и хмурились в сомнении. Негромко переговаривались между собой. Горыня молчала, не в силах даже вообразить, как теперь быть и куда податься. Враждебность здешних жителей ее не удивляла – на то чужая сторона. И вздумалось же отцу везти ее в какую-то Волынь! Сидели бы дома, как все добрые люди!

А сумерки сгущались, небо хмурилось, обещая к ночи снегопад. Кругом все было незнакомое, неприютное, после дня пути томили усталость и голод. Серые вороны прыгали по снегу и истошно кричали, будто вештицы.

– Люди добрые! – Ракитан опять возвзвал к мужикам. – Если не пустите к себе, хоть укажите, нет ли где дворика, чтобы мне до утра переждать? Хоть какой дворишко, хоть заброшенный, лишь бы волки не съели! Замерзну ведь насмерть!

– К Затее разве что! – ухмыльнулся третий мужик, средних лет, румяный от мороза. – Она-то знает, как с нечистью управляться!

– Ты, что ли, отведешь? – Полный повернулся к нему. – Сами они ее не сыщут.

– Ну… отведу. Только пусть они близко ко мне не подходят. Эй, слыши! – Мужик махнул Ракитану. – Поезжай за мной, да на полперестрела держись позади. Отведу тебя в жилье. Коли там не примут, так больше и негде. Проезжай сейчас до крайних дворов, там жди. Я лыжи возьму и провожу вас.

– Смелый ты, Ходута! – буркнул еще один старик, когда Ракитан с санями проезжал мимо мостков. – А ты смотри! – Старик погрозил Ракитану рогатиной. – Вздумаешь шалить, мы враз прикончим!

Ходута, появившись вновь, был на лыжах, за спиной нес плетеный короб, а отталкивался рогатиной. Знаком предложив Ракитану ехать за ним, пустился дальше по реке, но довольно скоро сошел на ручей. По ручью ехали версты с три, потом поднялись на берег, вышли на поле, за полем углубились в лес и снова спустились на тропу, пролегавшую по руслу замерзшей мелкой речки.

На лесной речке продвижение замедлилось: по узкому, порядком заросшему руслу сани шли с трудом. Ветви ив почти перегораживали его, сани кренились, однажды чуть не опрокинулись.

– Далеко ль еще? – то и дело окликал Ракитан их вожатого, но тот, оглядываясь, на вопрос не отвечал и только знаком предлагал идти дальше. – Обожди, добрый человек! Не спеши такто! Мне не поспеть!

Горыня шла позади, и несколько раз им с отцом приходилось чуть ли не переносить сани через препятствие. Быстро темнело; Ракитан прочитал и бранился, изливая свою досаду на привычную голову дочери, будто это она придумала посреди зимы ехать куда-то на тот свет.

– Заведет он нас в лес дремучий и бросит! Сам уйдет! Сиди, дожидайся, пока Сивый Дед явится и спросит: тепло ль тебе... Уф! Мать-земля! Нет там двора никакого! Ведет он нас в лес на погибель!

Горыня была недалека от мысли, что отец-то прав. Может, своятицкие решили таким хитрым способом избавиться от гостей, в которых видели саму Свирепицу с ее поводырем? Ходуте ничего не стоило исчезнуть: он шел налегке, шагах в двадцати впереди, они видели след его лыж на снегу, но часто теряли из виду его самого, и, когда он пропадал за поворотом русла и за кустами, Горыня не была уверена, что они увидят его снова. Вот сейчас еще немного стемнеет, и пропадет лыжный след... И засядут они в глухи чужого леса, ночью, зимой... К утру только кости останутся и от них, и от лошади! И вздумалось же батюшке среди зимы в одиночку в странствия пускаться!

В небе уже висела луна, когда спереди донесся крик Ходуты:

– Эй, мужик! Где ты там?

– Я здесь! – заорал обрадованный Ракитан.

– Езжай сюда, пришли!

Вздобравшись, Ракитан снова принял подгонять уставшую лошадь. Пройдя еще два десятка шагов, они увидели Ходуту: опираясь на рогатину, тот стоял у покосившихся мостков. Возле мостков чернела промоина под береговым ключом, на берег уводила узкая тропинка, на которой можно было сосчитать все отпечатки ног – видно, здесь ходил раза два в день только один человек.

– Вон туда! – Ходута показал рогатиной на тропку. – Я пойду вперед, вызову ее, а вы поднимайтесь.

Он ушел, а Ракитан потянул лошадь по тропинке. Они с Горыней так и не знали до сих пор, кто эта загадочная «она», к кому их ведут, – как ее назвали, Забава, Завея? – но допытываться было не время. Им было уже все равно – измученные тревогой, утомленный долгой трудной дорогой, замерзшие, голодные, они были бы рады даже той избушке на ножках, где лежит старуха с железной ногой и вросшим в потолок носом. Только бы прилечь где-нибудь в тепле...

В лесу было еще темнее. Теперь Горыня шла впереди, ведя лошадь, а Ракитан, спотыкаясь, брел позади. У него не осталось сил даже ворчать, Горыня слышала, как он кашляет и тяжело дышит. Вольно ж тебе было в чужие края пускаться, угрюмо думала Горыня, тоже уставшая. Ее бы воля – были бы сейчас дома и спали давно, пирогов наевшись...

Наконец путаница деревьев вокруг узкой тропы кончилась, и они выбрались на поляну. На поляне стоял дворик за тыном, высотой Горыне по грудь, и она видела две-три низкие крыши. Ходута уже стучал в створку. На кольях что-то белело. Черепа, почти спокойно отмечила Горыня. Ну а чего ждать в таком жилье, чаш греческих расписных, что ли? Уж здесь-то истинный тот свет!

Но вот из-за воротной створки послышался неясный голос; в нем звучала тревога.

– Затейка, отворяй! – закричал в ответ Ходута. – Гостей к тебе привел! Каких, каких! Увидишь – каких! Не разговаривай тут, отворяй! Я сам замерз как волк!

Наконец воротная строка заскрипела, блеснул огонь факела из смолья. К этому времени Ракитан и Горыня были уже достаточно близко, чтобы разглядеть женскую фигуру в наброшенном на голову кожухе.

– Свирипу тебе привез! – бодро доложил Ходута; он тоже тяжело дышал после утомительного пути, но посмеивался. – И мужика, что ее возит. В жилье наши не хотят их пускать, послали к тебе. Приюти, уж ты с нею управишься!

– Смеешься ты надо мной, Ходутушка, – раздался в ответ тревожный женский голос, довольно молодой. – Какую еще Сви… и называть-то имя ее не стоило бы, накличешь беду!

– Да вон они! – Ходута обернулся и махнул рукавицей. – Сюда ступайте!

Ракитан и Горыня подошли. И едва Горыня оказалась в свете факела – еще смутным, но весьма крупным очерком, – хозяйка двора с криком отшатнулась и спряталась за створкой.

– Затейка! – Ходута уцепился за створку, не давая ее затворить. – Не дури! Принимай гостей! Я и сам замерз как леший, а мне еще вон куда назад шагать! Заводи скорее в дом, я обогреюсь за назад пойду!

– Да кого же ты привел?

– Да шиш его знает, сказался мужиком из Волчьего Яра! Вроде Тихогость его знал, да он помер той зимой, а его с этой чудой никто в дом пускать не хочет!

– Что ж это за чуда?

– Да леший их матерь знает! Говорит, дочь его. Может, и дочь, только наши все опасаются! Сама знаешь, кто вокруг бродит, а нам ее в дом пускать не хочется.

Хозяйка опять показалась из-за створки. Держа перед собой факел, боязливо выглядывая из-под кожуха, осмотрела гостей. Ее лица Горыня разглядеть не сумела: оно оставалось в тени, и женщина казалась страшным толстым существом: руки есть, головы нет.

– Боги в дом, хозяюшка! – несчастным голосом сказал Ракитан и поклонился. – Сделай милость, пусти обогреться! Или пропаду совсем! Ракитан я, из Волчьего Яра, Дремлин сын, человек добрый, никому дурного не делал, а вот так меня лешаки попутали, завели на чужую сторонушку, неприветливую…

– Кто же это с тобой? – Хозяйка повела факелом в сторону Горыни.

– Дочь моя! Уж сколько лет с нею маюсь! Уродилась такая, мне на горе! Бед от нее не оберешься, не знаю, как избыть! Но она зла никому не сделает. Пусти переночевать, а утром я ее в Волынь свезу.

Подгоняемая Ходутой, Затея наконец смирилась и распахнула ворота, позволяя саням заехать. Судя по проворным движениям и голосу, это была молодая баба, всего лет на пять-шесть старше Горыни – невысокая, щуплая, подвижная, в накинутом на голову кожухе она очень напоминала мышь.

На дворе у нее имелась клеть, где жили несколько коз, и туда же она разрешила поставить лошадь. Когда Горыня вошла в избу, согнувшись под низкой притолокой пополам, Ракитан и Ходута уже сидели у печи, а хозяйка возле стола резала хлеб и козий сыр. Ничего другого у нее в этот час не сыпалось, но гости и тому были рады. Рядом на полу стоял Ходутин короб, раскрытый, а на столе – десяток яиц в горшке, переложенные сеном, комок масла в берестене, пять-шесть репок, кусок копченого сала и ржаной каравай – видно, подношения из веси. Горел масляный глиняный светильник, но, хотя кожух Затея сняла с головы, разглядеть ее лицо, кроме глаз, в которых блеском отражался огонек фитилька, Горыня никак не могла. Ракитан заново рассказывал повесть своих злосчастий, и, когда Горыня вошла, хозяйка взглянула на нее с пристальным любопытством.

– Да куда тебе идти, Ходутушка, среди ночи! – уговаривала она второго гостя. – Оставайся! Заплутаешь в лесу, или волков повстречаешь, меня же виноватой выставят!

— Я даже под подолом у тебя не заплутаю, а в своем лесу дедовом и подавно! — хмыкнул Ходута, и Затея в притворном возмущении прикрыла лицо рукой. — А оставаться не могу. Коли не вернусь, у меня дома вой подымут. Сейчас отдышишься и пойду.

— Мы и сами уйдем чуть свет! — подхватил Ракитан. — Только дай до утра обогреться, хозяйушка, не погуби, не дай стинуть в чужой стороне... И за что нас люди добрые принимают так неласково — ума не приложу! Худой славы за нами не водится, кроме того как Близята тогда поляны выкосил, но это ж когда было!

— Да неужто ты не слыхал, как Сирепица, да Грозница, да Зимница по белу свету ездят? — хозяйка повернулась к нему. — Их три сестры-лихорадки. А было так: сидел раз мужик под деревом, отдыхал в дороге. Вдруг видит — идет к нему женщина огромного роста, — она бросила взгляд на Горыню, — простоволосая, вся в белом, распоясанна, а в руке у нее метла, а у метлы на верхушке — череп. И говорит: я, мол, Сирепица, иду по белу свету людей губить, малых детей сиротить, веси и городцы опустошать. Ты, говорит, понесешь меня, но сам не бойся — я тебе вреда никакого не сделаю. Видит мужик — некуда ему деваться, если откажется, Сирепица его самого в первую голову уморит. Взял ее на плечи и понес. Стали они ходить по городам и весям, идут — где Сирепица метлой махнет, там все мертвые лежат. Ходили-ходили, видит мужик — совсем скоро на белом свете живых людей не останется. Шли они мимо Дунай-реки, он и думает: все одно пропадать. Взял да и бросился в омут глубокий. Сирепица-то утонуть не может — она выбралась. Да так напугалась, что убежала в леса глухие, в болота сырье, на мха, на темные луга. Но как зима — опять появляются те три сестры, идут по белу свету, ищут, кто их в городцы и веси пронесет. Того, кто возьмется нести или на санях везти, они не трогают, а всех прочих — их! — Затея махнула рукой, будто сметая что-то.

— Так я что... — Ракитан тоже с опаской покосился на Горыню. — Она ж дочь мо... а может...

Ракитан переменился в лице, а вслед за ним и Горыня. Даже в их родстве он теперь сомневается? Видно, от испытаний пути батюшка немного в рассудке стал нетверд. Но привычная горечь оттеснялась раздумьем: как же ей уйти с этого ночлега? Ворота она отопрет изнутри, но сумеет ли найти дорогу из леса обратно к Луге? Если бы идти все время по одному руслу, но Ходута вел их через поле. Только бы не пошел ночью снег, только бы луна светила — тогда она по следам Ходуты выберется. А Своятичи придется как-то обойти...

— Да не кручинься! — успокоила Ракитана Затея. Разглядев гостей, она перестала бояться и приняла радушный вид. — Я про вас злого не мыслю. Вижу, ты человек добрый. Отдыхай, сколько пожелаешь, я тебя из дому не гоню.

— Ну, а я пойду! — Отогревшийся Ходута встал и стал заново подпоясывать распахнутый кожух. — Не то мои бабы вой подымут — скажут, съели меня в лесу!

Посмеиваясь, Ходута ушел. Опять накинув кожух на голову, Затея вышла проводить и затворить за ним ворота. Вернувшись, стала устраивать гостей на ночлег.

— А что ты, матушка, одна здесь живешь? — расспрашивал любопытный Ракитан. — Молодая еще такая...

— Одна, батюшка. Как я пять лет назад овдовела — всего только три годочка довелось мне замужем пожить, троих деточек я принесла, да всех троих деды назад прибрали, — осерчала на меня родня да и говорит: ступай куда хочешь. Я не здешняя, я родом из Боянца. Только у меня и осталось доброй родни, что две сестры — я из них младшая. Только они меня и любят, только и навещают, да у середней сестры муж больно грозен — не пускает ее ко мне, гневается. А я от старшей сестры всякую зеленую мудрость переняла, помогаю людям, хвори-недуги изгоняю, они за то мне помогают — то хлеба принесут, то полотна. Так и живу понемногу.

Сколько Горыня могла разглядеть при светильнике, жила Затея бедновато и неуютно. На стенах висели пучки сушеных трав, по углам и на полках среди обмотанных берестой горшков стояли зачем-то овечьи и козьи черепа. Было не прибрано, везде как-то сор. Болтая, хозяйка

достала с полатей два старых, свалянных постельника, расстелила на лавках, потом положила на пол у печи какое-то тряпье и два потертых кожуха, кивнула Горыне:

– А ты здесь ложись. На лавках у меня ты, девица, и не уляжешься, пожалуй.

С высоты своего роста Горыня видела, что на полатях напихано еще множество всяческого тряпья, по виду несвежего и давно не стиранного. Душный запах этого тряпья и плесени мешался с духом сушеных трав и горечью печного дыма.

– Ох, ох! – Стеная, как старый дед, хотя был мужчиной средних лет, Ракитан уселся на лавку, которую ему указала Затея. – Ох мне! Кости ломит!

– Отдыхай, батюшка! – приветливо кивнула ей Затея. – Хоть весь день завтра отдыхай, коли не спешишь, меня ты не стеснишь. Сколько надо, столько и живи!

– Помогай тебе боги, добрая женщина! – Ракитан сидя поклонился. – И впрямь не знаю, смогу ли встать-то завтра… Ох, недолюшка моя!

– Избудем и недолюшку, не кручинься! – Затея подала Ракитану кожух, чтобы укрылся, потом наклонилась и поцеловала его, будто родича.

Горыня в изумлении наблюдала за этим: никогда в жизни она не видела, чтобы отца кто-то целовал. Ракитан, хоть и давно жил без жены, невестами осаждаем не был, даже вдовами. И тут какая-то незнакомая женщина, чужая?

В это время Затея метнула на Горыню пристальный взгляд. Горыня вздрогнула от мысли – не хочет ли та и ее поцеловать? – но твердо знала, что не подпустит хозяйку близко. Это все равно что с жабой целоваться – так ей думалось, хотя не сказать чтобы Затея была так уж дурна собой. Баба как баба, хоть и неопрятная слегка, зато молодая, бойкая…

Перемежая жалобы выражениями благодарности, Ракитан улегся. Затея легла на другую лавку, напротив него, Горыня, задув светильник, – на пол и тоже укрылась своим кожухом.

Даже это неудобное и жесткое ложе после целого дня трудного пути принесло ей блаженство отдыха. Чужая избушка в глухом лесу показалась желанным приютом – все не на снегу остаться, на верную смерть.

Горыня закрыла глаза, но заснула не сразу. Несмотря на живость и приветливость, хозяйка не нравилась ей. Что-то лживое мерещилось Горыне в ее улыбках, бойких глазах, в оживленном голосе. Она и правда рада, что к ней на ночь глядя явился незнакомый мужик с дочерью-волоткой, которую в двух других местах приняли за саму Свирапицу? Неужели так соскучилась одна в лесу, что лезет целоваться к чужому мужику, немолодому и некрасивому? Даже Горыня видела в этом нечто странное, хотя ей самой ни разу в жизни не приходила мысль кого-то поцеловать и она не знала, как это бывает.

Кажется, впервые в жизни – не считая ночевок на сенокосе – Горыня проводила ночь не дома. В темноте чужой избы, куда добирались через дремучий лес под светом далекой луны, чувство пребывания на том свете захватило ее целиком. Будто лежишь глубоко под землей, откуда обратно в белый свет три года идти. Даже знакомое похрапывание отца не успокаивало – Горыня знала, что здесь он так же беспомощен, как она сама.

Только нащупав за пазухой «дедову кость» в сером шерстяном клубочке, она немного успокоилась. Прислушалась. Со стороны лавки, где улеглась Затея, не доносилось ни малейшего звука. Да дышит ли во сне хозяйка этой избушки?

И сейчас, с закрытыми глазами и в темноте, Горыня яснее, чем при светильнике, увидела истину. Ходута привел их как раз туда, куда она думала: в избушку на ножках. И то, что обительница ее притворялась молодой и приветливой, скрывая длинный нос и железную ногу, делало ее только более опасной.

Завтра нужно уходить отсюда как можно раньше. Чуть рассветет, чтобы видеть следы Ходутиных лыж. А может, вовсе не стоит спать?

Но эта мысль была у Горыни последней – сон набросился на нее, как зверь из засады, и поглотил в одно мгновение.

Глава 5

Спала Горыня крепко, но тревожно: ей мерещились чьи-то стоны, но очнуться, открыть глаза не было никаких сил. Мелькала мысль – это хозяйка избы поедает отца, а потом за нее примется, – но все тело было сковано оцепенением, веки будто на замок заперты. Она знала, что должна встать и подойти к отцу; с огромным трудом она вставала, шла через избу, пытаясь наклониться к нему... просыпалась, понимала, что это ей приснилось, что надо встать по-настоящему, опять поднималась, опять обнаруживала, что и это был сон...

К утру Горыня начала зябнуть – видимо, в избе были плохо проконопачены щели и сквозило. Сколько она ни натягивала кожух, ни старалась подпихнуть полы под себя, чтобы прекратить доступ холода, ее слегка знобило. Шум разбудил ее окончательно – нечто темное возилось совсем рядом с нею, веяло теплом и запахом дыма.

С трудом разлепив глаза, Горыня обнаружила рядом хозяйку – Затея топила печь.

– Отодвинься – дыму наглотаешься, – велела та, заметив, что Горыня шевелится и поднимает голову.

С трудом Горыня села. Побаливали мышцы и даже кости – при всей своей выносливости, вчера она уж слишком устала. От дыма першило в горле, щипало глаза, но уходить от тепла огня в устье печи не хотелось.

Отец! Вспомнив о нем, Горыня поднялась. Прошла к лавке. Ракитан еще не встал – лежал неподвижно, свернувшись и укутавшись кожухом. Услышав ее приближение, поднял голову.

– Кто здесь? Ты, Горынька? Укрой меня чем – знобит.

– Сейчас печь разгорится – потеплеет, – ответила Горыня, потом взяла свой кожух и накрыла его.

– Неможется мне, – слабым голосом пробормотал Ракитан. – Голова болит... прямо будто не глаза у меня, а два угля пылающих. И за грудиной... Все кости болят... будто леший меня дубиной своей колотил...

Горыня осторожно притронулась к его лбу под спутанными волосами – тот был горяч, как горшок из печи.

– Эй, хозяйка! – Обхватив себя за плечи, она повернулась к Затее. – Неможется отцу моему. Жаром пышет. Как бы не ...

Ей вспомнилось Ломовье, тамошний хозяин, натужное дыхание из-за отгорожи, тревожное лицо востроносой бабы... Свернутая сорочка, впитавшая лихорадочный пот – относ, попытка выселить хворь из человеческого тела в лес. Ракитан оставил ту сорочку на пне у дороги, но... Горыню пробило холодом от мысли – Сирепица перескочила с той сорочки прямо в отцову душу!

Она еще раз позвала хозяйку. Та послала ее на двор за дровами, а сама тем временем осмотрела Ракитана.

– Кабы не лихоманка привязалась, – когда Горыня вернулась с охапкой дров, Затея тревожно опустила углы рта. – Надобно ему лежать... Я зелья кое-какого заварю. А ты пока поди коз подой. Умеешь?

– Да что я, по-твоему, и правда лихоманка? – обиделась Горыня.

Взяв ведерко и светильник, она ушла в клеть, где стояла их лошадь и четыре хозяйственных козы. Подоила коз, принесла сена из стога в угол двора, вычистила навоз. Привычная работа ее согрела, только очень хотелось есть; зрело нехорошее предчувствие, что отец захворал нешуточно и им придется на какое-то время остаться здесь. А значит, хозяйку надо бы задобрить и работой оплатить приют и заботы.

– Куда молоко? – спросила она, воротившись в избу.

— А в погреб, — Затея помешивала в маленьком горшочке, стоявшем в устье печи. — За клетью увидишь.

Горыня прошла за клеть — над снегом слегка возвышалась крыша погреба. Дверь была закрыта снаружи на прочный засов, чтобы не залез никакой зверь. Отворив ее, Горыня с трудом протиснулась в узкий лаз, осторожно протащила ведро и стала искать, куда бы его поставить. Дверь она оставила открытой; снаружи тем временем чуть-чуть посветлело, можно было оглядеться, хоть и с трудом.

Вот бочонки, видно, какой-то припас, сусек с репой и морковью, связки лука и чеснока. Пахнет кислой капустой и немного плесенью. На полках теснились берестени разной величины, а между ними еще какие-то небольшие темные чурбачки. Протянув руку, Горыня взяла один и вздрогнула — это оказался чур. Потемневший от времени чай-то «дед» с большой бородой и грубо намеченным лицом. Но почему здесь? Горыня ни разу не видела, чтобы чуров хранили в погребе, им место на полочке над столом в избе. Может, какой-то особый, оберегающий припасы? Она поспешила поставить чура назад, но заметила, что на полке таких еще с десяток. У Затеи, конечно, должны быть в доме чуры, но почему здесь? И почему так много? Ни в одном доме Горыня не видела их столько сразу.

Она проверила «дедову кость» за пазухой и немного успокоилась. Как бы ни было, пока она не потеряла своих чуров, чужие не причинят ей вреда.

Когда она вернулась, Затея кивнула ей:

— Я толокна сварила, отца покорми.

Горыня взяла горшочек и ложку. Приподняла отца и усадила, подсунув под спину кожух. Но он с трудом проглотил только две ложки и махнул рукой — больше не буду.

— Ох мне... неможется... — только и шептал он, показывая, что хочет снова лечь.

Горыня уложила его и сама доела толокно. У нее тоже побаливала голова и слегка пробирала дрожь, но заботы отвлекали, да и не привыкла она тревожиться о самой себе.

— Не в силах батюшка в дорогу пускаться, — сказала она Затее, вымыв горшок и ложку. — Ты уж будь милостива, позволь отлежаться. Куда я его повезу такого — померет в дороге.

Мысль о дороге напомнила ей намерение потихоньку уйти с ночлега, но усталость не дала вспомнить об этом ночью. Оно и к лучшему — уйди она, на кого бы бросила больного отца?

— Да уж куда вам в путь трогаться! — Затея засмеялась над этой нелепостью. — Никуда батюшка твой на белом свете не доедет, на Темный Свет разве.

— Что же с ним такое? — Горыня стояла у печи, где Затея опять что-то варила, и пыталась наконец ее разглядеть.

— Что? — Та усмехнулась и покачала головой. — Свирипуцу вы везли, а спрашиваешь, что.

— Как же мы ее везли? Она же, говорят, жена роста огромного, в красном платке и на козьих ногах!

— Не всякий ее видеть умеет! — снова хохотнула Затея. — Чтобы козы ноги разглядеть — мудрость нужна.

— А ты умеешь?

— Я-то умею! Она мне сестра родная, как не уметь! Вы только показались, я сразу ее у вас на плечах приметила!

— Сестра родная? — Горыня в испуге отшатнулась.

Да куда ж ее встрешный бес занес! Ее охватил ужас, как будто она провалилась в зимнюю прорубь и чувствует, что не сможет выбраться. Прошлой зимой Унегова молодуха так и утонула — белье полоскала, оскользнулась на мостках... Бежали, пытались ее спасти, но она ушла в воду у всех на глазах. Горыне долго потом мерещилось ее белое лицо и выпущенные глаза, полные смертного ужаса.

Но ее-то кто спасет? Никто и не знает, где она теперь. Отец из надежды и опоры превратился в дитя, которое без нее само пропадет.

– Да ты не бойся! – Затея выпрямилась и ласково ей улыбнулась. – Я-то могу с нею совладать. Меня-то она послушается. Только ты смотри – все, что у меня на дворе увидишь и услышишь, не передавай никому!

Горыня промолчала. Нарочито ласковый голос Затеи внушал ей столько же доверия, сколько пронзительное шипение гадюки. Но что она могла сделать? Пока отец не поправится, им с места не сдвинуться. Они оба во власти этой женки, в глухом лесу. Правильно, стало быть, и в Ломовье, и в той второй веси... Своятичах, не хотели их пускать в дома. Сирепица и правда ехала на их санях.

– Но как же так, – обратилась Горыня к Затее, – ведь лихорадка не трогает того, кто ее везет.

– Вот тебя она и не тронула, – хохотнула хозяйка.

– Меня? – Горыня снова обхватила себя за плечи, чувствуя озноб. – Но разве я...

– Знать, тебя она выбрала. Понравилась ты ей. Ты для ее дел-то ох как способна. Ростом велика, могучая... Будто ее сестра меньшая.

– Я ей не сестра! – гневно ответила Горыня, с ужасом понимая, что это все значит – если она везла Сирепицу, то она и погубила отца! – Тебе она сестра, ты с нею и толкуй!

– Вот что! Мы простое средство на первый случай испробуем.

Затея вырвала с головы Ракитана три волоска и ловко связала между собой.

– Ступай к реке, – велела она Горыне, – найди вербу потолще, выбери щель, забей туда волоски и скажи: «Пусть тебя, верба, Сирепица треплет, а отца моего, Ракитана, солнышко греет!» – и так три раза.

Горыня исполнила, как было сказано, но до вечера Ракитану не стало лучше. У него по-прежнему был жар; среди дня он утих, уступив место бурной потливости, и Горыня порадовалась, что зелья и береги Затеи оказали действие; но к вечеру жар поднялся снова. Ракитан жаловался, что болит голова – во лбу и за глазами, и, пытаясь перевести на что-то взгляд, стонал от боли. Просил, чтобы от него загородили светильник – свет причинял особенное мучение глазам. Много потел, Горыня то и дело обтирала ему лоб и шею. Несколько раз он то засыпал, выпив теплого зелья, но спал беспокойно, во сне постанывал.

В промежутках Горыня исполняла распоряжения Затеи – принесла два ведра воды от уже известной ей проруби на речке, залила березовую золу в бадье, наколола дров, нашептала щепы. После полудня Затея сама ушла куда-то в лес и вернулась только к сумеркам, зато принесла два каравая хлеба, пять или шесть яиц, глиняную кринку и пирог.

– К родне я ходила, вот, угостили, – пояснила она.

– Так ты ж говорила, не любит тебя родня...

– Сестры любят, – Затея с довольным видом улыбнулась. – Может, навестят меня, и ты с ними повидашься. Много они мне добра делают! Угодишь им – и сама будешь жить хорошо.

«Очень надо!» – подумала Горыня. Потом вспомнила, что Затея называлась родной сестрой лихорадки, и содрогнулась. Эти, что ли, сестры ее любят? «Их три сестры-лихорадки»... «Только у меня и осталось доброй родни, что две сестры – я из них младшая. Только они меня и любят, только и навещают...» Горыня еще раз содрогнулась. Не забрались ли они с отцом в дом к младшей из трех сестер-лихорадок? Вот попали так попали! Будь речь о ней самой – убежала бы отсюда прямо сейчас. Но отца на руках не понесешь... Уложить его в сани... да нет, помрет он в зимней дороге, и до Своятичей не доедет. И в Своятичах им не обрадуются. Здоровых не пустили на порог, а с больным и вовсе...

Мысль металась, но нигде не находила выхода. Отсюда им не выбраться – и идти некуда. Нигде на свете им приюта не будет.

– А она... Сирепица... – снова обратилась Горыня к Затее, – так и будет... со мной ходить? Или теперь отвяжется?

«Это сюда она хотела приехать? – добавила она мысленно. – Чтобы я ее к родне привезла?»

Затея вдруг обратила на нее такой пронзительный, пристальный взгляд, что Горыня опять вздрогнула. Затея, хоть и уступала ей намного ростом и статью, да и собой была непривлекательна – мышь да и только, – но некая сила в ней ощущалась, и сила недобрая.

– Вижу… – Она смотрела не в лицо Горыне, а куда-то за ее плечо, и от этого пробирала дрожь. – Вижу ее, матушку… По нраву ты ей пришла. Не хочет с тобой расстаться. Уйдешь отсюда – и она за тобой пойдет. Все веси, все городцы по земле Волынской выкосит, выметет.

– Но что же делать? – воскликнула Горыня. – Я вовсе ее возить не хотела! И не трогала ничего, что ей оставили…

Ей вспомнилась синяя шапка на лисе – та выпала у Ракитана из-за пазухи, когда он снимал кожух, и он положил ее к себе под изголовье.

– И не приходила к нам белая женщина, и не клала никаких условий… – продолжала она, отгоняя мысль о шапке.

– Да ведь есть нечто, – Затея прищурилась, будто заглядывая ей в душу, – сама ты знаешь. Отчего отец тебя среди зимы из дома увез? А? Знает ведь, что завладела тобой неведомая сила. С самого рождения она тобой владеет, оттого тебе ни в чем счастья-доли нет. Ведь верно?

Горыня опять обхватила себя за плечи, стараясь побороть ужас, но чувствуя, как он одолевает. Затея знала о ней больше, чем она сама. Ведь правда! С самого рождения ей ни в чем счастья-доли нет. Мать умерла, едва родив, ее последний вздох пришелся на Горынин первый. И люди знали, что с нею неладно, оттого и сторонились. С первого взгляда видно, что не человек она, не как все! И Нечай… Даже Ракитан, хоть и невеликого ума человек, это чуял в ней – и попытался от нее избавиться, убрать это зло из своей жизни. А оно не отпускает… Завело его в эту глушь и грозит совсем сгубить…

– Недобрая суденица при рождении к тебе явилась, недобрую судьбу напряла, – продолжала Затея. – Так ее нить за тобою и тянется. Никто из людей тебе не поможет, только я… да сестры мои.

– Вы суденицы, что ли? – вырвалось у Горыни.

– Может, и суденицы, – Затея хохотнула. – Ты верь мне. Я тебе пропасть не дам. Может, еще будешь и ты нам сестрою, тогда и горе-злосчастье от тебя отвяжется.

Горыня села на лавку, все еще обхватив плечи – как будто только так она и могла себя удержать от окончательной гибели. Затея, похоже, пытается ее утешить и подбодрить. Предлагает помочь и даже родство. Но не радовала Горыню ее доброта. Неужели ей среди добрых людей места не осталось и никто, кроме этой вот странной лесной женщины, не захочет посчитать ее своей?

Правда, что ли, от мамонта подземельного она родилась?

Попытать бы сейчас бабку Оздраву… Может, та больше знала, чем говорила. Но хотя Горыня провела вне родного дома всего одну ночь, ей казалось, что она покинула его года три назад. Все былое, оставшееся за горами и лесами, затянуло туманом. А будущего не было – был только этот вот дремучий зимний лес за тыном.

* * *

Горыня не заметила, как прошел этот день, и, когда стемнело, стало казаться, что все еще длится тот первый вечер. К ночи жар у Ракитана усилился. Теперь он непрерывно разражался сухим кашлем и при этом постанывал от боли в груди. Лицо и шея у него сильно покраснели, он то мерз, то потел – Свиридица трепала его без жалости, оправдывая свое имя. Затея хлопотала, заваривала какие-то травы, шептала над ними, поила Ракитана, но он от слабости мог сделать лишь несколько глотков.

— Эх, жаль, зима на дворе, — сказала Затея. — Никакого хорошего средства не найдешь!

— А что нужно? — Горыня с надеждой вскинула голову.

Так есть какие-то хорошие средства?

— Лучше всего бы жабу! Коли кого лихорадка треплет, то надобно ему жабу поцеловать и прочь пустить — лихоманка непременно с жабой уйдет! Еще хорошо лягушку в тряпочку завязать и на шее три дня носить. Или ночницу под мышкой — она верно лихорадку прочь уносит. Еще рака — рак пятится, и хвороба с ним от человека пятится. Или рачьи глаза истолочь и дать выпить...

Горыня поморщилась от перечня этих лечебных средств, но Затея была права — где же зимой найдешь жаб и лягушек? Жаба его уже сама поцеловала, подумала Горыня, вспомнив вчерашнее. Не от того ли он и расхворался так?

Она не смогла бы объяснить, чем ей так не нравится Затея. Лицом та не походила на жабу. Самое обычное лицо, невзрачные черты — глубоко посаженные глаза, тонкие бесцветные брови. Где хочешь таких баб найдешь целый пучок. Держится живо, бойко, приветливо, но эта приветливость холодна, притворна, а в ее коротком, деревянном хохоле прорывается бессердечие, черная дыра вместо души. Лучше бы тут сидела сварливая горбатая бабка, какими чаще бывают лесные ведуны — не так было бы жутко.

— А вот что у меня есть! — О чем-то вспомнив, Затея полезла в скрыню, долго там рылась и вытащила нечто вроде ожерелья из гремящих белых орехов. — Вот! Головы змеиные! Девять змей, на Ярилин день взятых! Это тоже средство верное!

Она надела змеиные головы Ракитану на шею; он лишь слегка пошевелил веками. Потом Затея извлекла еще одну змеиную голову и через нее процидила для Ракитана питье — отвар какой-то травы. Отвар он выпил, но за весь день он ничего не съел, слабо отмахивался при виде горшка с толокном.

— Вот еще что есть! — Сходив в погреб, Затея принесла горшочек, обвязанный засаленной тряпочкой. — Сало ежовое!

— Что? — Горыня о таком и не слышала.

— Сало ежовое! Из ежа вытопленное! Надобно хворого этим салом намазать — у ежа колючки, Свирепица прикоснется к нему — потрапать, наколется и уйдет!

Горыня помазала отцу вонючим ежовым салом шею и грудь, сама потом долго отмывала руки. Она хотела смотреть за ним всю ночь, но заснула, сидя на полу и привалившись к лавке. Ей тоже немоглось: побаливала голова, ныли суставы. Она просыпалась от отцова кашля, вставала, вытирала ему лицо и шею, предлагала питье — горшочек стоял в печи, — страдая от того, что больше ничего не может сделать. Подумала, не сделать ли относ, как принято было изгнать лихорадку, но вспомнила, как мало толку от этого бывает. Может, выбросить к лешим ту синюю шапку? Да ведь поздно — лихорадка уже не в шапке...

Ни разу еще в ее жизни не было ночи тяжелее. Даже та первая ночь после смерти Нечая прошла легче — тогда Горыня еще не осознала, что привычная жизнь закончилась навсегда. Казалось, сама боль в ее теле порождена тоской, отрывом от дома, от своих. «Дедова кость» у нее за пазухой не могла помочь Ракитану — это были не его чуры.

И надоумил же его какой-то навец ехать в Волынь! Горыня не сомневалась, что сама болезнь отца возникла из-за того, что он покинул дом и пустился в чужие края, полные невидимого зла. И ехали-то недолго — а заехали прямо на тот свет, в темный лес, к младшей из трех лихорадок, и оставалось только ждать, кто одолеет: злыдня или Ракитанова доля.

Очнувшись от очередного приступа тяжкого сна, Горыня почуяла, что уже утро. Отец тяжело дышал, в груди у него что-то сипело, с губ рвались слабые стоны. Не то он спал, не то был без памяти. С трудом сбрасывая с себя оцепенение, Горыня встала, перечесала косу, умылась. Ее будто держали невидимые пуги, и для простых движений приходилось напрягать

все ее великанские силы. Не будя хозяйку, она растопила печь, поставила варить замоченное с вечера толокно и пошла к козам.

Когда она вернулась, убрав молоко в погреб, Затея уже встала и кормила Ракитана толокном. Утешала его, приговаривала, что вот-вот он станет молодец молодцом. Как ни мало Горыня ей доверяла, однако не могла не испытывать благодарности и надежды. Может, Затея и впрямь родная сестра лихорадкам, но кто же, как не она, сможет уговорить их выпустить жертву из когтей!

— Я за Ракитанушкой пригляжу, — сказала ей Затея, — а ты вот что, поди-ка белье вымой. Ему бы надо сорочку давно переменить, а у меня нет чистых. Санки возьми в клети, там же и бадья дубовая.

Проворно встав на лавку, Затея повыкидывала с полатей целую груду разного тряпья. Горыня собрала его в охапку и понесла в клеть. Нашла дубовую бочку с камнями на дне, поставила на санки, засунула туда белье и поволокла уже знакомой тропой к проруби. Набрала в лесу сушняка, развела костер, накалила камни, побросала в налитую водой бочку, чтобы нагреть воду, насыпала туда истертого гриба-трутовика, стала толочь белье. Приглядываясь, удивлялась: ну, женские сорочки и рушники — понятно, но мужские рубахи тут откуда? Детские? Все они были разной величины, и широкие, и маленькие, хотя никаких следов мужчин или детей в Затеиной избе Горыня не приметила. И видно, что работа разных хозяек — по-разному спрятано, по-своему выткано и сшито.

Постой, Затея ведь сказала… три года назад овдовела, пять лет замужем побыв… или наоборот. Троих вроде детей родила, но все померли… Что же она — три, пять лет хранит мужины сорочки? Детские? Но вот эта, — Горыня вытащила одну, из тонкого беленого льна, истощающую пар на холодном воздухе, — на десятилетнего пошита. Не могли Затеинки дети быть такими, если она вышла замуж, так или иначе, восемь лет назад! При всей неосведомленности Горыни в этих делах считать-то она умела не хуже всякого другого.

Умаявшись, она села на бревно у костра и протянула озябшие ладони к огню. Голова кружилась, щемило живот — она не сразу поняла, что от голода. Мысленно Горыня не могла найти себя в мире, понять, кто она и где. Восемнадцать зим все было ясно: она — дочь Ракитана и Медовы из веси Волчий Яр, Лужской волости, Волынской земли. Но прежняя жизнь ушла за тридевять земель. Горыня могла припомнить всего два дня вне дома — первый они с отцом провели в дороге, побывали в Ломовые и в этих, как их… Своятицах, второй прожили у Затеи, сегодня третий. Отец лежит больной, а она трудится на Затеином хозяйстве, отплачивая за гостеприимство. Но в то же время Горыня знала: еще тысячу, две тысячи таких же дней она просто забыла, а на самом-то деле ушла из Волчьего Яра много лет назад и там ее уже никто не помнит. Бабка Оздрава небось давно померла, Лисича, Червена и даже мелкая Чарунька вышли замуж, народили детей, постарели, растеряли зубы…

Нет, но отец не может годами лежать больным, не выздоравливать и не умирать! — внушал ей разум. Может, отвечало ему некое чувство, что выше разума. В таком месте — может. На том свете нет времени. Поэтому она, молодая еще девка, чувствует себя усталой, весь день клонит в сон, и поясница у нее ноет, как у старухи. Здесь не живут и не умирают, а находятся на меже того и другого, как нынче Ракитан. Бесконечно долго. И вот эта бесконечность, неподвижность тоски и отчуждения настолько угнетала Горыню, что она чуть не заплакала. Но сдержалась, да и слезы быстро высохли. Она уже не бабкина внучка, которую есть кому пожалеть.

Сложив в бадью вымытое в проруби белье, Горыня еще немного погрела руки, загасила костер и потащила санки по тропке домой, то есть к Затеиной избе. Ворота оказались заперты, и она постучала. Вскоре выскоchила Затея, с кожухом на голове, и сразу сделала ей знак молчать.

— Иди сюда скорее! — знаками призывая за собой, она увела Горыню в клеть. — Побудь здесь покуда.

– А белье развесить?

– Потом развесишь, как я скажу. А пока сиди тихо, как мышь, и на двор не суйся. Гости у меня, тебе их видеть не след! – строго добавила она, отвечая на удивленный взгляд Горыни. – Не всякий таких гостей увидеть может и живым остаться!

– А как же отец? – вскинулась Горыня.

– Он… спит он, не видит никого. Да они скоро уйдут. Смотри у меня!

Строго погрозив пальцем, Затея ушла в избу. Горыня распахнула кожух, развязала платок. В голове гудело, отчаянно хотелось прилечь – да хоть на козью подстилку, лишь бы голову преклонить. В мыслях рисовались какие-то жуткие чуды, пришедшие к Затее в гости. Мохнатые морды… Мертвые кости. Как в той глупой сказке Голованихи…

А что если это те самые сестры-лихорадки?

От этой мысли Горыню пробила дрожь. Что означает их появление? Они пришли утащить с собой отца? Или Затея уговорит их оставить его в покое? Горыня разволновалась по-новому. Пусть бы так и было! Ведь она старается, по двору работает, белье стирает…

Снаружи послышались голоса. Горыня метнулась к двери и выглянула в щель. Было еще достаточно светло, чтобы разглядеть Затею в ее кожухе и двоих гостей – мужика и бабу. Одеты они были обыкновенно, как любые весняки, и ни на леших, ни на лихорадок не походили.

– Так ты уж порадей, Затеюшка! – говорила на ходу баба. – Не поможешь, все пропадем! Уж и чуры нас покинули, горемычных, остались мы, беззащитные сироты!

– Да я ж вам растолковала, правда, Потёма? – утешала ее Затея.

– Уразумел я все! – заверил мужик. – Сковать крюк железный, вокруг веси в полночь обежать, у окопицы зарыть!

– Да уж очень мы напугались, – твердила баба. – Вот такая жена, вся белая, простоволосая, как лук натянет, как стрелу метнет – у нас в оконнице застряла, не вытащить! А у нас и чуров-то нет, некому нас оборонить от злыдней…

– Сделаете, как я сказала, не придет она больше!

– Ты уж за нас порадей…

– Относ не забудьте! Без отоса не усмирить ее!

– Да уж не забуду! Хлеба каравай, меда горшок, на сорочку тонкого полотна!

– Нынче же отнеси.

– Отнесу, мать-земля!

Наконец Затея выпроводила гостей и закрыла ворота. Горыня села на солому возле коз и притворилась дремлющей. Никакие это были не чуды и не лешии. Обычные мужик с бабой. Они чем-то были напуганы… Какая-то белая простоволосая баба пустила стрелу им в оконце… А Затея учит их ограждать все селение… Они видели ее же, Свирепицу. Вспомнив слова Затеи, Горыня оглянулась за плечо, но там была только коза, серая с черным на спине. Значит, не всегда Свирепица сидит в этой избе с нею? Или это другая – их же три сестры?

Мысли путались. В этом месте все не так, все нити перепутаны, время перемешано… И здешние жители легко могут быть разом в нескольких местах.

Но есть ли обычный мир за пределами этого леса? Тот самый, где павечерницы и простые живые люди? Или Темный Свет простирается во все стороны на три года пути?

Вскоре пришла Затея и позвала ее в дом. О гостях она не упомянула, и Горыня не стала спрашивать. Куда больше ее волновал отец. Лучше ему не стало: по-прежнему жар, хриплое дыхание. Он был красив и не похож на себя: кожа обтянула череп, закрытые глаза ввалились. Горыня тихонько окликнула его, но он, похоже, не слышал.

От вида этого лица жесткая рука стиснула сердце. Горыня ощутила себя на самом краю проруби – еще немного, и соскользнешь в черную воду. Отец не любил ее – какая уж любовь, если надумал в челядь продать! А она сама просто покорялась ему, чувствуя себя виноватой в

своей несуразности. Он же отец, как еще? Если его не будет... Она останется здесь. В глухи того света, совсем одна!

– Затея! – окликнула она. – Ты погляди на него! Совсем батюшке худо!

– Да уж не хорошо! – Затея бросила на Ракитана беглый взгляд. – Давит его Свирепица.

– Так сделай что-нибудь!

– А вот мы сейчас его медвежьей шерстью покурим! Это средство верное!

Горыня вздохнула, подумав, что отец уже весь с ног до головы в этих «верных средствах», одно другого сильнее – то головы змеиные, то сало ежовое... Будь она Свирепицей, давно бы сбежала без оглядки!

Затея взяла из печи горящих углей на совок, бросила на них ключья медвежьей шерсти – небось в лесу набрала, на стволах сосен, об которые медведь чесал спину, – и стала ходить с ними посолонь вокруг Ракитана, нараспев проговаривая длинный-длинный заговор: про море-окиян и остров Буян, где на белом камне сидят семьдесят семь старцев. Как шли мимо них двенадцать сестер-лихорадок, как старцы подвергали их строгому допросу об их именах и путях, а потом насыпала на них черного зверя медведя, чтобы прогнал их на сыр бор, на серое болото, на корчевое пенёвье, на мхи, на темные луга, на сухие леса, на гнилые колоды...

Горыня с трудом разбирала слова: от вони паленой звериной шерсти она раскашлялась, раскашлялся и Ракитан, сама Затея тоже чихала, прижимая к носу рукав, как мышь под веником.

– Там вам гулять, красова...ти... аапчхи! ... ся... чхи!

Но хоть средство было не из слабых, Ракитану от него как будто стало еще хуже. Он дышал с таким хрипом, со стоном, что Горыня содрогалась.

– Можно ее попугать еще, – рассуждала Затея. – Взять горшок с водой ледяной и над головой его разбить. Или взять веревку толстую, девять узлов завязать, бить его той веревкой и приговаривать...

– Куда уж его бить, он и так чуть жив! – в возмущении воскликнула Горыня.

– Да не человека бьют, лихорадку! А вот еще – накроем-ка мы его корытом! – обрадованная новой мыслью, Затея подскочила. – Неси скорее!

Горыня принесла из клети большое корыто, в котором хозяйка, видимо, мылась, поскольку бани у реки Горыня не заметила. Вдвоем они положили перевернутое корыто на Ракитана, так что он почти скрылся под ним. Хозяйка принялась за новый заговор: как Свирепица приходит на двор, стучит у окна, спрашивает, здесь ли Ракитан, ей отвечают, что нет, она заходит, ищет его по всему дому, не находит... Говоря за Свирепицу, она гудела и подывала, и выходило так убедительно, что Горыня невольно жмурилась и втягивала голову в плечи.

– Ох мне! – обычным своим голосом сказала вдруг Затея остановилась. – Я ж с вами дело важнейшее забыла! Ты сиди, а я пойду!

– Куда ты пойдешь? – Горыня встала.

– Не далеко, да и не близко, до ночи обернуться мне необходимо!

– А отец?

Затея развела руками и схватила свой кожух. Горыня не стала ее удерживать. Ей было страшно оставаться с отцом одна – она-то что может? – но и от присутствия Затеи большой пользы уже не было. Еще какую-нибудь гадость придумает – с ежом и ужом целоваться!

Когда Затея ушла, Горыня сняла с отца корыто. Теперь он дышал, будто отрывал воздух кусками. Она положила руку ему на грудь – там что-то скрипело. На глазах у Горыни закипели горячие слезы – она видела, что надежды почти нет. У него уже и лицо не лицо, а будто череп... Тот самый, что Свирепица носит на палке...

– Да где же ты? – заорала Горыня во всю мощь, дико озираясь. – Где ты, жена роста огромного, распояса, простишлага! Покажись! Ужо я тебе! Я тебя не боюсь!

Если бы негодяйка показалась на глаза! Горыня чувствовала не страх, а только ярость. Она бы бросилась на нее, схватила своими сильными руками, скрутила в бараний рог! Должна же для чего-то важного пригодиться ее рост и мощь, из-за которых она всю жизнь была всем чужой!

Но Свирепица не вышла. Было тихо, мигал огонек светильника на столе, дрожали черные тени на стенах, хрипел Ракитан.

Горыня села к нему и взяла его руку. Рука была горячей, влажной и какой-то очень мягкой, будто и не мужская.

У отца задрожали веки. Горыня наклонилась ниже. Ракитан открыл глаза, и она встретила его взгляд.

— Батюшка! Родной... — у нее осел голос. — Держись, родимый! Все средства верные... Должно же хоть что-нибудь помочь!

Он слабо пошевелил губами, но даже если и пытался что-то сказать, разобрать Горыне не удалось. В глазах его было чувство, которого она никогда еще не видела — жалость. Кого он жалел? Себя, понимая, что умирает? Или ее — единственное свое детище, которое он завез на край света, в зимний лес, и вынужден здесь бросить в руках нежити, как тот старик из сказки?

Ракитан опять закрыл глаза. В груди у него захрипело, он приподнялся, будто силясь высунуться из заливающей его воды... и замер. Черты лица расправились, как будто ему наконец-то полегчало. Даже мелькнула мысль, а может, Свирепица насытилась и ушла?

Горыня смотрела на отца, пытаясь уловить дыхание. Но было тихо. Она хотела нащупать на шее бьющую жилу, но рука так дрожала, что ничего не удавалось. В глазах плыло, а мысли скручивались, как белье, когда его выжимают.

«Уж ты скажи, да родной батюшка, уж ты куда да снарядился?» — сам собой запел в ней чей-то голос, женский, тонкий и незнакомый. Запел, будто старался вернуть, воротить уходящего.

Она и правда чувствовала недоумение — только что ее отец был здесь, он страдал, боролся за жизнь... а теперь его уже нет. В его лице появилась расслабленность — борьба сменилась покоем. Какой-то частью сознания Горыня понимала, что случилось — отец умер, она теперь полная сирота. Но будто что-то держало ее за горло и не давало прорваться наружу ни плачу, ни причитанию.

* * *

Смерть — это дальний путь для ушедшего и много работы для оставшихся. Вернувшись Затея, плюхнула на стол каравай хлеба в рушнике, горшок с чем-то — потом оказалось, что с медом, — сунула на полати свернутые десять локтей полотна и запричитала. Причитала она хорошо, сразу было видно умение. Прерываясь, велела Горыне натаскать из стога сена, расстелить на полу, накалить в печи камни и опять нагреть в бочке воды — обмывать тело, пока не окоченело. Одели покойника в чистое — порты и рубаху из выстиранных Горыней, и хотя на морозе одежда еще не высохла полностью и пришлось ее досушить у огня, даже Горыня понимала, что мертвому уже не будет холодно.

— Ох, а это что? — Затея вдруг наклонилась и подняла что-то с пола.

Горыня глянула на нее и по привычке сунула руку за пазуху — она выронила «дедову кость», пока неловко возилась с отцовским телом.

— Это мое, — она забрала клубочек у Затеи и сунула назад. — Бабка мне дала. Сказала, в чужом kraю оборонит, верный путь укажет... — Голос у нее задрожал, опять показались слезы. — Батюшку только... не уберег...

— Завтра краду приготовим, а ты пока спи, сил набирайся, — сказала Затея и подала ей горшочек. — Выпей, легче уснешь.

Горыня выпила теплый душистый, чуть горьковатый отвар и без сил рухнула на свой постельник. Отец, в чистой одежде и с причесанными волосами, лежал на прежнем месте, но больше не нужно было к нему вставать, прислушиваться к дыханию... Горыня и хотела быстрее заснуть, но слезы текли от болезненного чувства одиночества. Казалось, вот теперь она достигла дна той пропасти, в которую летела. Некому больше вывести ее из леса дремучего во чисто поле. Она осталась здесь совсем одна, беспомощная и беззащитная перед владыками этого мира.

Что если и правда она приманила Свиридицу, привезла ее на себе? Или отец сам виноват, что взял ту шапку... или относ из Ломовья? Или только Недоля, что напряла им несчастливую нить? Каждая мысль причиняла боль, но не указывала никакого выхода.

Перед закрытыми глазами носились какие-то лица, в ушах звучали голоса. Горыня то проваливалась в черную глухую тишину, то начинала разбирать какие-то звуки. Сны путались, наплывали один на другой. Мелькнул огонь во тьме; кто-то склонился над нею, и она смутно увидела лицо Затеи, потом еще одной женщины. И тут же они пропали.

— Дубки зеленые, пеньки молёные! — с изумлением воскликнул незнакомый голос. — Вот это девка! Одеть ее в белое да косу распустить — я б сама решила, что это она доподлинно и есть!

— А подумай, в какую весь ее пустить — там все разом порты намочат со страху! — засмеялся голос Затеи.

— Что ж ты делать с нею будешь? — Второй голос казался постарше Затеиного и говорил тише.

— Себе оставлю. У них родни никого нет, идти ей некуда.

— Да как же ты ее прокормишь? Ей целого быка на один присест надобно!

— Относы нынче у нас хорошие, — Затея опять засмеялась, — что ни день, то каравай!

Приходили ко мне — Потёма со своей бабой, пирогов принесли, яиц, сала, окорок притащили! Только, говорят, избавь от беды. Я их научила крюк сковать да относ отнести. Вон, забрала уже. Полотно хорошее, беленое! Тебя дожидается — твоя добыча! Она девка дельная, на любую работу ловка. А если, как ты говоришь, придется нам в путь-дорогу трогаться, то и в пути она нам хорошо послужит. Там и к делу ее пристроим. От Добрушки толку мало — не пускает ее тот шиш никуда, а мне сказал, еще раз подойду к двору — удавит, колотá его возьми! Никакой воли ей не дает, она уж мне сколько раз плакалась. Да я ей дала кой-чего, как она в последний раз прибегала! Скоро он, проклёнуш, присмиреет...

Вязкая тьма затягивала Горыню, голоса отдалялись, она больше не разбирала ни слова непонятного разговора. Огонь погас.

Очнулась она с чувством, что ей нужно вставать и приниматься за какую-то важную работу, но не могла вспомнить какую. Отец... Он болен, надо за ним смотреть... Горыня стала приподнимать тяжелую, как камень, голову, еще не имея сил открыть глаза, и тут вспомнила. Отец умер. Вчера.

Не может быть. Это был страшный сон. Она села, закрывая лицо руками. Она боялась убрать руки, взглянуть на белый свет — на ту тьму, что вокруг, — боялась того, что ее там ждет. Где она? На том свете. На самом-самом дне... Там, где живут сестры-лихорадки. Вчера она видела их! Нет, не вчера, а ночью. Они приходили... Одна была похожа на Затею, другая — постарше. Они радовались богатой добыче, что столько животов человеческих сгубили. Они и отца сгубили. И про нее, Горыню, что-то говорили... Видно, наметили ее в новую добычу себе. Ну и пусть. Куда еще ей деваться, куда идти?

Наконец Горыня, услышав поблизости шум движения, разлепила глаза. Голова болела, мышцы ныли. Затея уже встала и зажгла светильник. При свете было видно неподвижное тело на лавке. Оно лежало точно так же, как его оставили вчера, и эта нерушимая неподвижность сама говорила о том, что случилось. Сколько ни причитай, ни призывай родимого батюшку

встать-пробудиться, взглянуть на свое чадо милое – не встанет он, тьма его очи навек заволокла.

Из глаз Горыни потекли слезы. Вот что значит «слезами умываться», мелькнуло в голове. Сегодня мысль об этой смерти ранила ее даже сильнее вчерашнего – ночь прошла, но не унесла с собой этот ужас.

– Давай-ка, поешь да за работу принимайся, – сказала ей Затея. – Не век же ему так лежать. Возьми топор да ступай за дровами. Будем на краду класть, а там уж я прах до весны приберу.

В это утро она расщедрилась – выдала Горыне на завтрак хлеба, сала, печеных яиц, меда. Поначалу кусок не лез в горло, но, едва начав жевать, Горыня осознала, как голодна. Все эти дни еды ей доставалось мало, и хотя заботы отвлекали, она ослабела. А силы ей понадобятся.

И она совсем одна! Погребение – это дело для всего рода, всей веси. Собираются старухи обмывать и обряжать покойника, мужики кладут краду, потом ее поджигают, потом поминальный пир, потом собирают прах и насыпают над ним могилу… И все это она должна сделать сама, с одной Затеей! Чужой, опасной женщиной, которой она доверяет не больше, чем ужу и ежу!

Мысль сама собой обратилась к дому, понеслась в Волчий Яр. Умри Ракитан дома – сейчас тут распоряжались бы бабка Улюба, Оздрава, Ивина, Голованиха и другие сведущие женщины. Ей бы оставалось только причитать по отцу, и то ей бы подсказывали, когда это надо делать, а когда прекращать. У нее ведь это «первое горе», первая ее настоящая встреча с Темным Светом!

Если бы можно было оказаться дома! Горыня представила, как везет на санях тело отца назад по Луге, как привозит в Волчий Яр… И что дальше? Как на нее посмотрят люди? Несколько дней назад она, убив человека, уехала с отцом… и возвращается с его трупом! Да скажут, что она и отцу родному шею свернула! И не оправдаешься – не Затею же с собой в видоки звать!

Горыня помотала головой. С таким грузом воротиться домой она никак не сможет. И с самой вестью о Ракитановой смерти – тоже. А значит, в Волчий Яр ей путь закрыт. Даже раздобудь она где-то семью гринен, ради которых Ракитан пустился в путь, в прежний круг ее не примут. С таким злосчастием только в лесу и жить.

– Ступай, ступай! – торопила ее Затея. – День-то короток. Я покуда ему сряду приготовлю. У вас с собой-то добра немного, я уж из своих пожитков снаряжу Ракитанушку, чтоб перед дедами было не стыдно…

Поточив Затеин топор, Горыня отправилась в лес. Весь день она рубила сухие деревья и таскала сушняк. Уже два-три лета она порой делала такую работу, когда кому-то требовалось расчищать в лесу делянку под новый пал²⁰, и к топору ее рукам было не привыкать. За один день, конечно, всего не успеть, да и слаба она была сейчас. Голова кружилась, поясница побаливала, во лбу ломило, сердце сильно колотилось, и то и дело приходилось присаживаться на бревно передохнуть.

Готовые дрова она при помощи своей лошади перетаскивала на поляну, указанную Затеей. Но только на второй день удалось выложить краду нужной величины, в половину человеческого роста, переложив поленья мелким сушняком и щепой.

Взяв тело отца на руки, Горыня перенесла его на краду, укрыла кожухом из запасов Затеи. На голове его была та синяя шапка на лисе. И впрямь он в ней хороши – будто жених… Сколько лет Ракитан жил вдовцом, не искал невесты – и вот его самого нашла невеста, от чьих объятий, раз уж она тебя выбрала, не отбъешься… Сам ее подарочек принял.

²⁰ Пал – участок леса, выжигаемый для обработки при подсечно-огневом земледелии.

Крада долго не разгоралась, Затея несколько раз поджигала щепу и бересту, подсунутые под разные углы, но наконец смолье запылало, повалил густой дым, и постепенно огонь охватил всю кладку. Горыня и Затея отошли к деревьям, глядя на пламя. Сперва пахло обыкновенно – горящими сосновыми дровами, а потом пошел другой запах, знакомый Горыне по прежним погребениям в Волчьем Яру. Запах горящей мертвый плоти… Вот и все, нет у нее больше отца. Завтра Затея собирает прах в большой горшок… но с прахом уже не поговорить. Не услышит она ворчания, привычных попреков, жалоб и сетований – всего того, что прежде наводило на нее тоску, а теперь стало дорого. Не увидит она его блекло-голубых глаз, рыжеватых волос… Какой ни был – другого отца ей взять негде. На Осенние Деды накрывают стол, кладут ложки для невидимых гостей – для умерших, что придут проведать живых. На Весенние Деды живые сами ходят к ним в гости на жальник, и они всей семьей ходили на могилу к матери, с пирогами, пивом и яйцами. Но куда она, Горыня, теперь пойдет к отцу? Его могила будет в этом лесу.

И откуда она пойдет? Где ей самой теперь место? И невольно зредо ощущение, что и ее место теперь здесь, возле единственной родной могилы. Где еще ей хоть кто-то рад на белом свете?

Затея расстаралась и устроила поминальный стол куда лучше, чем Горыня от нее ожидала. Сварила кашу с медом, напекла блинов, выложила сало, козий сыр, хлеб, даже часть копченого свиного окорока. Горыня удивилась: козы и куры у Затеи были, но свиней она не держала, откуда же окорок? Смутно помнилось, будто совсем недавно кто-то упоминал окорок… но кто? Может, ей приснилось? Несмотря на сильный голод, Горыня принялась за него осторожно: Оздрава рассказывала, как лешии угощают случайных гостей свининой, а на вкус оказывается мох зеленый. Но мясо было как мясо, немного полежавшее, но настоящое.

– Ешь, ешь, родненькая! – ласково уговаривала ее Затея. – Сил набирайся. Нам, может, долгая дорога вскорости предстоит.

– Какая еще дорога?

Горыня подумала о дороге обратно – в Своятичи, потом в Ломовые… Мысль эта в ней вызвала и радость возвращения в белый свет, и испуг – с вестью о смерти отца белый свет ее не примет.

– В края далекие и неведомые! – с важностью ответила Затея. – Жила я здесь поживала, да нашлись злые люди, гибели мне хотят. Думали мы с моими сестрами да надумали: снимемся с места и поищем себе житья привольного. Совсем уж было мы собрались, да я вот думаю: как же мне тебя, сироту, одну на белом свете оставить? Не могу я так, изболится мое сердце! И сестре старшей я про тебя говорила, она согласна тебя принять. Станем мы тебя учить, в нашей хитрости чародейной наставлять. Будешь послушна да прилежна, сделаем тебя чародейкой мудрой и могучей, сами дубки зеленые перед тобой преклонятся!

Горыня не отвечала, пытаясь уловить смутные воспоминания, которые в ней вызвала эта речь. Сестра старшая… Ведь и правда, одну-две ночи назад ей снилось, будто Затея разговаривает с какой-то женщиной… и речь шла о ней, но Горыня не помнила, в чем там было дело. Дубки зеленые… Этот образ был связан с негромким, похожим на шелест, немолодым женским голосом.

Но что же это выходит – теперь Затея и ее загадочные сестры и будут для Горыни новой семьей? Обрадовалась она этому гораздо меньше, чем полагается бесприютной сироте. Еще бы те еж и жаба пришли да стали к ней в родню набиваться, звать к себе жить – на сухие леса и зеленые мхи. Неужели она так уж себя запятали, что иного места ей и нет?

Круглодолье! Бабкина родная весь, куда та велела ей идти, тайком отстав по дороге от отца. Назад в Волчий Яр ей нельзя, но в Круглодолье не знают о ней ничего дурного – ни про Нечая, ни про Ракитана. Можно просто сказать: мол, отец умер, осталась я полная сирота, приютите меня, родня же. Не прогонит ее родной брат бабки по матери только за то, что уродилась ростом с бортевую липу!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.